

Раскол

–

Великая Отечественная Война

Анатолий Шигапов

Анатолий Шигапов

Раскол - Великая Отечественная Война

«Автор»
2026

Шигапов А.

Раскол - Великая Отечественная Война / А. Шигапов — «Автор», 2026

Эта книга о войне, которая была общей для русских, украинцев, белорусов, татар, башкир, казахов и ещё ста восьмидесяти шести народов. О том, как в одном окопе делили хлеб и воду, прикрывали друг друга и умирали друг за друга не спрашивая, кто какой веры и какой нации. О том, что смерть не различает лиц, а пуля не спрашивает, кто ты. И о том, как после войны началось другое - молчание. Оно передавалось от дедов к отцам, от отцов к сыновьям, и внуки выросли, не зная своей истории. А потом пришёл раскол тихо, незаметно, как болезнь, которая копится в крови и однажды взрывается. Кто-то сказал: «Эти не те. Эти не свои». И люди поверили, потому что так проще, потому что вспоминать больно. Эта книга не приговор и не обвинение. Это свидетельство о том, что молчание убивает, и о том, что можно иначе: говорить, помнить, быть вместе. Потому что у нас одна кровь, одна земля, одна память. И потому что иначе нельзя.

© Шигапов А., 2026
© Автор, 2026

Анатолий Шигапов
Раскол - Великая Отечественная Война

ПРЕДИСЛОВИЕ

К третьему тому трилогии «Раскол»

Эта книга - о крови. О той крови, которая была общей. О ста девяноста двух национальностях и этнических группах, которые вместе держали фронт. О русских, украинцах, белорусах. О татарах, башкирах, казахах. О якутах, узбеках, грузинах, армянах, азербайджанцах. О чувашах, мордве, осетинах, чеченцах, калмыках, бурятах. О всех остальных - из тех ста девяноста двух, чьи имена не всегда помещались в сводки, но чья кровь была на той же земле, в том же окопе, в том же братском захоронении.

Но эта кровь была не только общей - она была ещё и своей. Каждый умирал своей смертью, но за всех. Каждый терял своё, но терял вместе с другими. И это «вместе» было таким же естественным, как дыхание. Как хлеб. Как вода. Как земля под ногами. Никто не говорил: «Я русский, а ты украинец, поэтому я тебя не прикрою». Никто не спрашивал: «А какой ты веры? А какой ты нации?» Прикрывали. Делили хлеб. Умирали друг за друга. Потому что иначе было нельзя. Потому что смерть не спрашивает, кто ты. Потому что пуля не различает лиц.

А потом война кончилась. И началось другое. Началось молчание - с той стороны, которая забыла свою историю, свои корни. Которая повелась на лесть, на обещания - и в итоге обманула сама себя. Это молчание не было злым. Оно не было сознательным предательством. Оно было - усталостью. Оно было - желанием забыть. Оно было - страхом снова почувствовать ту боль, которая никогда до конца не уходила. Люди вернулись с фронта - с руками, которые держали оружие, с глазами, которые видели смерть, с памятью, которая не хотела отпускать. И они молчали. Потому что не могли рассказать. Потому что не умели. Потому что слова были слишком малы для того, что они видели. Потому что правда была слишком тяжёлой, чтобы её выговорить.

И это молчание передалось дальше. От дедов - к отцам. От отцов - к сыновьям. От сыновей - к внукам. И внуки выросли, не зная своей истории. Не зная, что их деды воевали вместе. Не зная, что они делили хлеб и воду. Не зная, что они спасали друг друга. Не зная, что они были - братьями. Не по крови. По войне. По тому, что нельзя назвать. Что нельзя понять. Что нельзя забыть - но что забыли. Потому что молчали.

И тогда пришёл раскол. Тихо. Незаметно. Как болезнь, которая копится в крови и однажды - взрывается. Кто-то сказал: «Эти - не те. Эти - не свои. Эти - не той веры. Эти - не того духа». И люди поверили. Потому что так было проще. Потому что так было - можно. Потому что иначе нужно было вспоминать. А вспоминать - больно. Вспоминать - страшно. Вспоминать - нельзя.

Но эта книга - не приговор. Не обвинение. Не оправдание. Это - свидетельство. Свидетельство о том, что молчание убивает. Медленно. Тихо. Неотвратимо. Как болезнь. Как старость. Как война. И свидетельство о том, что можно иначе. Что можно - говорить. Что можно - помнить. Что можно - быть вместе. Не по приказу. Не по нужде. А потому, что иначе - нельзя. Потому, что мы - люди. Потому, что у нас одна кровь. Одна земля. Одна память.

Эта книга о том, что было до раскола. До молчания. До всего. О той войне, в которой все - русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, казахи, якуты, узбеки, грузины, армяне, азербайджанцы, чуваши, мордва, осетины, чеченцы, калмыки, буряты, и все остальные из ста девяноста двух национальностей - были вместе. Не потому, что так решили. А потому, что иначе было нельзя. Потому что смерть стояла за спиной. Потому что земля горела под ногами.

Анатолий Шигапов

ТОМ 3. РАСКОЛ - ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА

Глава 1. Артём. Украинский фронт

Первое, что Артём почувствовал, - землю. Не увидел, не услышал, не вспомнил. Именно почувствовал: всем телом, каждой клеткой, каждой жилкой. Она была под ним, вокруг него, в нём самом. Сырая, тяжёлая, холодная. Она пахла глиной, прелью и чем-то ещё - застоявшимся, древним, как будто её только что вывернули из глубины на поверхность.

Он лежал на боку, подтянув колени к груди. Поза была неудобной, но менять её не было сил. Тело не слушалось. Оно было чужим - тяжёлым, одеревенелым, как будто он долго пролежал без движения. Или как будто его не было. Или как будто оно было, но не его.

Голова гудела. Ровно, на одной ноте, без всплесков и затиший. Гул был похож на далёкий самолёт, который летит где-то высоко и не думает приземляться. Артём слышал этот гул не ушами - он звучал внутри, в самой голове, и от него было трудно думать.

Во рту было сухо. Так сухо, что язык казался чужим - шершавым, тяжёлым, прилипшим к нёбу. Артём попробовал сглотнуть. Не получилось. Слюны не было.

Шинель, в которую он был завёрнут, пахла не им. Он понял это сразу, как только смог шевелить пальцами. Ткань была грубой, старой, сбившейся в комки. И пахла она землёй и чем-то ещё - чужим потом, чужим табаком, чужой жизнью. Шинель была не его. Но она была на нём. И от этого становилось странно - как будто он был здесь, но не совсем здесь. Как будто он занял чьё-то место. Или чьё-то место заняло его.

Он попробовал вспомнить. Как он здесь оказался. Память отзывалась неохотно, кусками, как плохо склеенная плёнка. Темнота. Потом свет - резкий, белый, режущий глаза. Потом снова темнота. И вот - это. Земля. Окоп. Шинель. Гул.

Он не помнил ни лиц, ни имён, ни дорог. Не помнил, как сюда попал. Не помнил, откуда шёл. Не помнил, что было до темноты. Память давала только ощущения - холод, голод, страх. И ещё что-то, что было сильнее страха. Что-то, что заставляло идти вперёд, даже когда идти было некуда.

Он открыл глаза. Над ним было небо. Низкое, серое, без единого просвета. Ни солнца, ни птиц, ни облаков, которые можно было бы различить. Просто серое полотно, натянутое над миром. Оно было таким плотным, что казалось - протяни руку, и коснёшься его. Но рука не поднималась. И он просто лежал и смотрел в это небо, не в силах отвести взгляд.

Где-то далеко ухало. Глухо, ритмично, как будто кто-то бил в огромный барабан. Или как будто где-то падали тяжёлые камни. Или как будто земля сама по себе издавала этот звук - ровный, спокойный, безразличный. Артём слушал и не понимал, что это. Но чувствовал: это обычно. Это было здесь всегда. И будет.

Он сел. Медленно, с трудом, опираясь на стенку окопа. Стенка осыпалась под рукой - комья глины покатились вниз, за воротник, за шиворот. Он не обратил на это внимания. Просто сел и посмотрел вокруг.

Окоп был длинный, извилистый, с земляными стенками, которые кто-то пытался укрепить досками. Доски были старые, серые, с торчащими гвоздями. Кто-то вбивал их торопливо, не заботясь о том, чтобы получилось ровно. Просто чтобы держалось. Просто чтобы не осыпалось. И они держались - криво, ненадёжно, но держались.

Вдоль окопа были люди. Много людей. Они сидели, стояли, лежали, чинили, курили, ели, спали. Кто-то чинил сапог, орудуя шилом и дратвой. Кто-то дремал, подложив под голову вещмешок. Кто-то курил, пуская дым в неподвижный воздух. И дым не поднимался вверх, а стелился по земле, как будто не хотел уходить. Как будто ему тоже было здесь место.

Артём слушал. Сначала просто слушал, не разбирая слов. Голоса были разные - высокие и низкие, хриплые и звонкие, спокойные и раздражённые. Они сплетались в общий гул,

в котором нельзя было различить отдельные фразы, но можно было уловить интонацию. И интонация была одна.

Свои.

Он не сразу понял, почему так решил. Просто почувствовал. Так же, как чувствовал запах земли или видел серое небо. Это было не рассуждение, не вывод - это было ощущение, которое приходило раньше слов. Оно было сильным, почти осязаемым. И оно было правильным.

Потом он начал разбирать слова. Не все, не сразу, но всё больше и больше. Русская речь была основной - на ней говорили почти все, на ней отдавали приказы, на ней ругались, на ней шутили. Но в этом общем гуле слышались и другие языки. Украинская речь - мягкая, певучая, с другими окончаниями, с другими интонациями. Белорусская - похожая на русскую, но не совсем, с каким-то своим ритмом, с какими-то своими словами. Башкирская, татарская - гортанная, резкая, с непривычными для уха звуками. Якутская, казахская - тягучая, с долгими гласными, как будто слова тянулись и не хотели заканчиваться. Узбекская, грузинская, армянская, азербайджанская - совсем другие, непривычные, но не чужие. Чувашская, мордовская - те, которые Артём слышал редко и не всегда мог отличить одну от другой.

Кто-то говорил на родном языке, кто-то переходил на русский, кто-то мешал одно с другим. Слова не всегда были разборчивы. Но Артём понимал главное: эти люди не случайно оказались вместе. Они были здесь потому, что должны были быть здесь. Потому что иначе было нельзя.

Он не знал, как это получилось. Не знал, почему именно он, именно здесь, именно сейчас. Но чувствовал: это не ошибка. Это - как должно быть. Или - как было. Он не мог сказать, откуда пришло это чувство, но оно было сильным, почти осязаемым. И он не стал его прогонять.

Сержант - немолодой мужчина с усами, с лицом, обветренным на ветру и на солнце, с морщинами у глаз, которые бывают у людей, много смотрящих вдаль, - заметил, что Артём очнулся. Он не сказал ни слова. Просто молча протянул ему флягу.

Артём взял. Фляга была тёплая - не от воды, а от рук. Вода внутри была тёплой и отдавала металлом. Он пил медленно, маленькими глотками, чувствуя, как влага растекается по пересохшему горлу. Это было почти больно - но приятно. Как будто что-то возвращалось на своё место.

Он напился и вернул флягу. Кивнул. Сержант кивнул в ответ. Ни слова. Но это был разговор. Не тот, который состоит из слов, а тот, который состоит из жестов, взглядов, пауз. Разговор, который не нуждается в переводе. Разговор, который понимают все - независимо от того, на каком языке они говорят.

Артём смотрел на Сержанта. На широкие ладони, которыми тот обхватил флягу. На морщины у глаз. На усы, тронутые сединой. На то, как он сидел - спокойно, уверенно, как будто провёл в этом окопе не день и не два, а всю жизнь. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

«Украинский фронт», - подумал Артём. Он не знал, откуда взялось это название. Оно просто было - как будто всегда было. Как будто он знал его раньше, но забыл, а теперь вспомнил. Украинский фронт. Это начало. Начало чего-то. Чего именно - он не знал. Но чувствовал: это важно. Важнее, чем всё, что он мог вспомнить. Важнее, чем всё, что он мог забыть.

Он остался. Потому что идти было некуда. Потому что надо. Потому что иначе - нельзя. Он сел удобнее, подтянув под себя ноги, и посмотрел вперёд. Туда, где окоп поворачивал. Там, за поворотом, было что-то - он не знал что. Но знал, что рано или поздно это придёт. И что он должен быть готов.

Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, час. Может быть, два. Может быть, больше. Время в окопе текло иначе - не по часам, а по событиям. Вот Сержант достал кисет, свернул самокрутку, прикурил от уголька. Вот кто-то прошёл мимо, неся котелок с водой. Вот где-то далеко ухнуло - глухо, ритмично, как будто кто-то бил в огромный барабан. Артём

вздрогнул, но Сержант даже не повернул головы. Значит, привык. Значит, это было обычно. Значит, так и надо.

Он смотрел на людей вокруг и постепенно начинал различать их. Не по именам - имён он не знал. По лицам, по повадкам, по тому, как они держались. Вот тот, что чинил сапог, - молодой, с тонкой шеей и острыми плечами. Он работал сосредоточенно, высунув кончик языка, как будто от этого зависело что-то важное. Вот тот, что дремал, - пожилой, с седой щетиной, с руками, которые даже во сне оставались натруженными. Вот тот, что курил, - средних лет, с усталыми глазами и спокойным лицом.

Все они были разные. Разные лица, разные руки, разные голоса. Но что-то их объединяло. Артём не сразу понял что. А потом понял: они не боялись друг друга. Они не смотрели друг на друга с подозрением. Они не ждали удара. Они просто были вместе - и это было нормально. Нормально - в самом простом, самом обычном смысле этого слова. Как будто иначе и быть не могло.

Он думал о том, что было раньше. О темноте. О свете. О том, что он не помнил. И о том, что помнил. Память была странной - она не давала картинок, не давала лиц, не давала имён. Она давала только ощущения. Холод. Голод. Страх. И ещё что-то - что-то, что было сильнее страха. Что-то, что заставляло идти вперёд, даже когда идти было некуда.

Он не знал, что это было. Но чувствовал: это останется с ним. И здесь, в этом окопе, это будет нужно.

Сержант докурил самокрутку, затушил окурок о стенку окопа, спрятал кисет в карман. Посмотрел на Артёма. Долго, внимательно. Потом сказал - тихо, спокойно, как будто говорил сам с собой:

- Держись. Здесь все держатся.

Артём кивнул. Не потому, что понял - он не понял. А потому, что почувствовал: это было важно. Сказать это. Услышать это. И ответить - хотя бы кивком.

Сержант отвернулся. Занялся своим делом. А Артём остался сидеть, глядя вперёд, туда, где окоп поворачивал. И думал о том, что будет. И о том, что было. И о том, что есть.

Он не знал, что будет дальше. Но знал, что не один.

Солнце так и не вышло. Небо осталось серым, плотным, низким. Но свет изменился - стал мягче, ровнее, как будто день всё-таки наступил, просто не так, как обычно. Артём заметил это не сразу. Просто в какой-то момент понял, что видит дальше и лучше, чем раньше. И что лица людей вокруг стали различимее.

Кто-то принёс еду. Не раздавал - просто поставил котелок в середине окопа, и люди начали подходить по очереди. Без суеты, без толкотни. Каждый знал, когда ему подойти. Каждый знал, сколько ему взять. Артём подошёл последним - не потому, что не хотел, а потому, что не знал, как это делается. Сержант кивнул ему - подойди. Он подошёл. В котелке была каша - густая, серая, с какими-то кусочками. Он набрал в свою ложку - ложка была не его, но он не помнил, откуда она взялась. Может быть, дали. Может быть, нашёл. Может быть, была с ним всегда.

Каша была безвкусной. Но тёплой. И это было важнее вкуса. Артём ел медленно, чувствуя, как тепло растекается по телу, как оно доходит до пальцев, до ног, до головы. Гул в голове стал тише. Или это он просто перестал его замечать.

После еды кто-то заговорил. Негромко, не обращаясь ни к кому конкретно. Просто говорил - а другие слушали. Или не слушали. Но не перебивали. Он говорил о доме. О том, что там сейчас - лето, что в саду зреют яблоки, что мать, наверное, варит варенье. Он говорил спокойно, без надрыва, как будто рассказывал о чём-то обычном. Но в его голосе было что-то, что заставляло слушать. Что-то, что было у всех - но у каждого своё.

Артём слушал. И думал: это тоже важно. Не только держаться. Не только чинить сапоги. Не только наматывать портянки. Важно ещё помнить. Помнить, что было. Помнить, что есть. Помнить, что будет. И говорить об этом. Чтобы не забыть. Чтобы другие не забыли.

Он не знал, о чём думают другие. Но чувствовал: они думают о том же. Или - почти о том же. И это тоже объединяло. Как кисет. Как котелок. Как земля. Как небо.

К вечеру - если это был вечер - стало холоднее. Артём подтянул шинель ближе к телу. Она была не его, но уже не казалась чужой. Просто шинель. Просто ткань. Просто тепло. Он смотрел на людей вокруг и думал: они тоже когда-то пришли в себя на дне окопа. Тоже не помнили, как здесь оказались. Тоже чувствовали то же, что и он. И тоже остались. Потому что идти некуда. Потому что надо. Потому что иначе - нельзя.

Ночью он спал на земле, подстелив под себя шинель. Было холодно, жёстко, неровно. Но он спал. И во сне слышал гул - ровный, спокойный, безразличный. И этот гул был уже не внутри, а снаружи. Как будто земля сама по себе издавала его. Как будто она говорила: я здесь. Я всегда здесь. Я буду.

Глава 2. Максим. Лес под Киевом

Первое, что Максим почувствовал, - холод. Не тот холод, который бывает зимой, когда мороз щиплет щёки и забирается под воротник. Другой. Медленный, тягучий, поднимающийся снизу, от земли. Он проникал сквозь одежду, сквозь кожу, сквозь тело - и оседал где-то внутри, в самом центре, откуда расходился по всем жилам. От этого холода не помогало укрыться. От него можно было только терпеть.

Он лежал на спине. Под ним было что-то колкое, неровное, пахнущее хвоей и сыростью. Лапник. Ветки, брошенные на землю, чтобы не лежать на голой глине. Они были старые, сухие, с обломанными иглами. И они пахли не лесом, а чем-то прелым, застоявшимся, как будто лежали здесь давно - дольше, чем нужно.

Над ним были ветки. Низкие, серые, голые. С них капало. Капли падали редко, но методично, с равными промежутками. Кап. Пауза. Кап. Пауза. И от этого звука у Максима начинала болеть голова. Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, час. Может быть, два. Может быть, больше. Время здесь текло иначе - не по часам, а по каплям. И каждая капля была как удар.

Он попробовал вспомнить. Как он здесь оказался. Память отзывалась неохотно, кусками, как плохо склеенная плёнка. Темнота. Потом свет - резкий, белый, режущий глаза. Потом снова темнота. И вот - это. Лес. Лапник. Капли. Холод.

Он не помнил ни лиц, ни имён, ни дорог. Не помнил, как сюда попал. Не помнил, откуда шёл. Не помнил, что было до темноты. Память давала только ощущения - холод, голод, страх. И ещё что-то, что было сильнее страха. Что-то, что заставляло идти вперёд, даже когда идти было некуда.

Он открыл глаза. Над ним было небо. Не такое, как в окопе - там оно было серым, плотным, низким. Здесь оно было другим. Редким, бледным, с просветами, сквозь которые сочился свет. Не солнце - просто свет. Без тепла, без цвета, без жизни. Просто свет. И от этого света ветки казались ещё более голыми, ещё более серыми.

Он сел. Медленно, с трудом, опираясь на руки. Ладони скользили по хвое, по земле, по чему-то ещё. Он посмотрел на руки. Грязь под ногтями. Ссадины на костяшках. И что-то ещё - тёмное, засохшее. Кровь. Не его. Или его. Он не знал. Он не помнил, чтобы его ранили. Но кровь была. И это было важно. Почему - он не понимал. Но чувствовал: это важно.

Вокруг был лес. Редкий, серый, с голыми ветками, с землёй, покрытой слоем прелой листвы. Не такой, каким он представлял лес. Не густой, не зелёный, не полный жизни. А пустой, тихий, как будто из него ушло всё живое. Как будто лес сам по себе был больным. Или - мёртвым. Или - просто уставшим. Как и всё вокруг.

Костёр был маленький, едва живой. Огонь не горел - тлел, отдавая больше дыма, чем тепла. Над костром висел котелок - закопчённый, чёрный, с погнутой ручкой. В котелке что-то варилось - или уже сварилось, и теперь просто грелось. Пахло дымом, мокрой шерстью и чем-то ещё - прелым, застоявшимся. Как будто здесь давно не было свежего воздуха. Как будто лес и люди в нём дышали одним и тем же - и это же было уже использовано.

Люди вокруг были с винтовками. Не в форме - в чём-то гражданском, в чём-то военном, в чём-то, что нельзя было назвать ни тем, ни другим. Кто-то чистил винтовку, протирая затвор тряпицей. Кто-то варил что-то в котелке, помешивая палкой. Кто-то просто сидел и смотрел в огонь, не двигаясь, как будто ждал, что огонь что-то скажет.

Максим слушал. Сначала просто слушал, не разбирая слов. Голоса были разные - но не такие разные, как в окопе. Здесь было меньше языков. Только русские и украинцы. Русская речь была основной, но украинская слышалась вперемешку - мягкая, певучая, с другими окончаниями, с другими интонациями. Кто-то говорил на родном, кто-то переходил на русский, кто-то мешал одно с другим.

Слова не всегда были разборчивы. Но интонация была одна. Свои.

Максим слушал и понимал: он среди своих. Но кто враг - он не понимал. Это было странное чувство. Он знал, что враг есть. Знал, что враг где-то рядом. Но не мог указать на него пальцем. Не мог сказать: вот он. Потому что враг - не тот, кто говорит на другом языке. Не тот, кто пришёл с чужой земли. Не тот, кто в другой форме. Враг был где-то ещё. Где - Максим не знал. Но чувствовал: это важно. Важнее, чем всё остальное.

Он смотрел на людей вокруг. На их лица. На их плечи. На их руки. И не находил ответа. Лица были разные - молодые и старые, гладкие и обветренные, спокойные и тревожные. Плечи были разные - широкие и узкие, прямые и сутулые. Руки были разные - большие и маленькие, сильные и слабые. Но что-то их объединяло. Что-то, что Максим не мог назвать.

Партизан со шрамом на щеке - молодой, с усталыми глазами, с обкусанными ногтями - заметил, что Максим очнулся. Он не сказал ни слова. Просто молча протянул ему кусок хлеба. Тёмный, жёсткий, но - хлеб.

Максим взял. Хлеб был чёрствый, но вкусный. Или ему так казалось. Он жевал медленно, чувствуя, как хлеб растворяется во рту, как наполняет тело чем-то, чего ему не хватало. Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, час. Может быть, два. Может быть, больше.

Он кивнул. Партизан кивнул в ответ. Ни слова. Но это был разговор.

Максим смотрел на партизана. На шрам, который пересекал щёку наискосок - от виска к подбородку, розовый, заживший, но всё ещё заметный. На обкусанные ногти. На рубец на костяшке - след от удара, который когда-то был сильным. И думал: враг - не тот, кто говорит на другом языке. Враг - где-то ещё. Может, в нём самом. Может, в ком-то другом. Может, в том, что было между ними.

Он остался. Потому что идти было некуда. Потому что надо. Потому что иначе - нельзя. Он сел удобнее, подтянув под себя ноги, и посмотрел в огонь. Огонь был маленький, слабый, но живой. Он тлел, отдавая тепло, которого хватало только на то, чтобы не замёрзнуть. Максим смотрел на него и думал: что-то будет. Что-то, что он не мог назвать. Но чувствовал: это важно.

Он не знал, сколько прошло времени. Может быть, час. Может быть, два. Может быть, больше. Время в лесу текло иначе - не по часам, а по событиям. Вот кто-то подбросил в костёр ветку. Вот партизан со шрамом поднялся и ушёл в лес - и вернулся через некоторое время, неся что-то в руках. Вот кто-то заговорил - тихо, негромко, не обращаясь ни к кому конкретно. Просто говорил - а другие слушали. Или не слушали. Но не перебивали.

Он говорил о доме. О том, что там сейчас - лето, что в саду зреют яблоки, что мать, наверное, варит варенье. Он говорил спокойно, без надрыва, как будто рассказывал о чём-то обычном. Но в его голосе было что-то, что заставляло слушать. Что-то, что было у всех - но у каждого своё.

Максим слушал. И думал: это тоже важно. Не только держаться. Не только чистить винтовку. Не только ставить силки. Важно ещё помнить. Помнить, что было. Помнить, что есть. Помнить, что будет. И говорить об этом. Чтобы не забыть. Чтобы другие не забыли.

Он не знал, о чём думают другие. Но чувствовал: они думают о том же. Или - почти о том же. И это тоже объединяло. Как костёр. Как котелок. Как хлеб. Как лес. Как небо.

Он молчал. Максим тоже молчал. Они сидели и смотрели в огонь. И это было нормально. Нормально - в самом простом, самом обычном смысле этого слова. Как будто иначе и быть не могло.

Потом партизан заговорил. Тихо, глядя в огонь. Не о доме - о другом. О том, что было раньше. О том, как они здесь оказались. О том, что было до леса. Максим слушал. Не перебивал. Не спрашивал. Просто слушал. И постепенно начинал понимать: этот человек знает что-то, чего не знает он. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Партизан замолчал. Смотрел в огонь. Молчал. Максим смотрел на него - на шрам, на то, как он ссутулился, как сжал колени руками, как смотрит в огонь, будто видит там что-то своё. И думал: он тоже не знает, кто враг. Но он знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Максим подложил в костёр ветку. Огонь принялся, треснул. Он смотрел на пламя. И думал: что-то будет. Что-то, что он не мог назвать. Но чувствовал: это важно.

К вечеру - если это был вечер - стало холоднее. Максим подтянул к себе что-то, чем можно было укрыться. Не шинель - что-то другое. Куртку. Или пальто. Или то, что от них осталось. Он не знал, откуда это взялось. Может быть, дали. Может быть, нашёл. Может быть, было с ним всегда. Он не помнил.

Он смотрел на людей вокруг и думал: они тоже когда-то пришли в себя на лапнике. Тоже не помнили, как здесь оказались. Тоже чувствовали то же, что и он. И тоже остались. Потому что идти некуда. Потому что надо. Потому что иначе - нельзя.

Ночью он спал на лапнике, укрывшись чем придётся. Ветки кололись, земля тянула холодом, но усталость брала своё. Он ворочался, искал удобное положение. Не находил. Но засыпал. И во сне слышал, как где-то далеко ухает - глухо, ритмично. Как будто кто-то бил в огромный барабан. Как будто земля сама по себе издавала этот звук. Как будто она говорила: я здесь. Я всегда здесь. Я буду.

Глава 3. Артём. Окопный быт

Ночь Артём провёл в полудрёме. Он не спал и не бодрствовал - лежал с закрытыми глазами, чувствуя, как холод поднимается от земли, как ноет спина, как где-то далеко ухает. Он не считал удары и не пытался понять, что это. Просто лежал. Иногда проваливался в муть, где не было ни снов, ни мыслей. Потом муть отступала, и он снова видел над собой стенку окопа, комья глины, кусок серого неба.

Утром его разбудил Сержант. Не словами - прикосновением к плечу. Артём открыл глаза. Сержант кивнул в сторону костра и отошёл. Артём сел. Тело за ночь задеревенело, шея не гнулась, пальцы плохо слушались. Он размял их, потом плечи, потом спину. Шинель, на которой он спал, была влажной от росы. Он свернул её, подоткнул под мышку и пошёл к костру.

У костра собралось человек десять. Кто-то грел руки, кто-то держал над огнём котелок, кто-то сидел на корточках и смотрел в пламя. Артём встал в стороне. Сержант заметил его, кивнул - садись. Артём сел.

Каша была та же, что и вчера, - серая, густая, с редкими кусочками чего-то, что трудно было назвать мясом. Но сегодня она казалась вкуснее. Или он был голоднее. Он ел медленно, не поднимая головы, слушая разговоры. Говорили о вчерашнем обстреле, о том, что где-то достали табак, о том, что скоро, наверное, дадут приказ. О доме не говорили. Утром о доме не говорили - утром говорили о деле.

После еды Сержант подозвал его к себе. Достал из-за пазухи сапог - старый, потрёпанный, с оторванной подошвой. Показал на него пальцем, потом на Артёма, потом на шило и дратву, лежавшие рядом на доске. Артём понял: надо чинить.

Он взял сапог. Кожа была жёсткой, сухой, с трещинами. Подошва висела на одном гвозде. Артём взял шило, попробовал проколоть кожу. Шило пошло туго, с трудом. Он нажал сильнее - кожу проткнуло, но криво, не там, где надо. Сержант смотрел. Не помогал. Не мешал. Артём продёрнул дратву, затянул стежок. Получилось криво. Он выдернул, попробовал снова. Опять криво. Сержант молчал. Артём попробовал в третий раз. Получилось ровнее. Он затянул, закрепил, обрезал лишнее. Подошва держалась. Криво, но держалась.

Сержант взял сапог, повертел в руках, посмотрел на шов. Потом кивнул. И вернул сапог Артёму. Артём не понял - то ли чинить дальше, то ли готово. Сержант показал: готово. Артём отложил сапог в сторону.

- Держится, - сказал Сержант. Голос у него был низкий, хриплый, как будто он давно не говорил.

Артём кивнул.

- Держится, - повторил Сержант и отвернулся.

Это был первый раз, когда Артём услышал его голос. Голос был обычный. Не злой, не добрый - просто обычный. Как у всех.

Потом был кисет. Его пустили по кругу - маленький, засаленный, с завязками. Каждый брал щепотку, сворачивал самокрутку, прикуривал от уголька. Артём не курил. Но когда кисет дошёл до него, он взял щепотку. Не для того, чтобы курить, - для того, чтобы было. На потом. Или за компанию. Он не знал, как это называется. Но сделал так, как делали другие.

Табак был горький, крепкий, с запахом дыма и чего-то ещё - травяного, сухого. Артём ссыпал его в карман, затянул завязки. Кисет пошёл дальше. И это тоже было важно. Не табак. А то, что его дали. Что он был в кругу. Что его не пропустили.

Боец с тяжёлыми руками - тот, что чинил сапог вчера, - подошёл к нему после кисета. Молча показал на ноги. Артём не понял. Боец показал ещё раз: на свои ноги, на ноги Артёма. Потом достал из-за пазухи кусок ткани - серой, плотной, с бахромой по краям. Портянка.

Он сел на землю, снял сапог, размотал свою портянку и начал наматывать заново - медленно, показывая каждый шаг. Сначала подвернуть край, потом натянуть на носок, потом обернуть вокруг стопы, потом вокруг голени, потом заправить конец. Артём смотрел. Запоминал.

Боец закончил, посмотрел на Артёма. Артём взял свою портянку - старую, сбившуюся, с дырой на пятке. Попробовал намотать. Получилось плохо: портянка сползала, комкалась, жало в подъёме. Боец молчал. Артём размотал, попробовал снова. Опять плохо. Боец молчал.

Артём попробовал в третий раз. Натянул сильнее, подвернул аккуратнее, заправил конец. Получилось лучше. Не идеально, но лучше. Боец посмотрел, кивнул и отошёл. Не сказал ни слова. Но кивнул.

Артём остался сидеть на земле, глядя на свои ноги. Портянка держалась. Нога не жала. Он натянул сапог, зашнуровал. Встал. Прошёлся. Нормально. Не идеально, но нормально.

Он не знал, кто этот боец. Не знал его имени, не знал, откуда он. Но это было не важно. Важно было, что он показал. Что он не прошёл мимо. Что он кивнул.

Дальше день пошёл своим чередом. Артём не знал, как его называть - день. Светло стало, и это было всё, что можно было сказать. Солнце не вышло, небо не расчистилось. Просто серое полотно стало чуть светлее. И по этому свету люди в окопе определяли время.

Артём делал то, что делали все. Углублял окоп - брал лопату, которой пользовались по очереди, и выкидывал землю на бруствер. Земля была тяжёлой, глинистой, с камнями. Лопата входила с трудом. Но он копал. Медленно, размеренно, как другие. Не думая. Просто копал.

Потом проверял оружие. Винтовка была не его - дали, когда пришёл. Или он сам взял. Не помнил. Но винтовка была, и её надо было чистить. Он разобрал затвор, протёр тряпицей, смазал маслом из маленькой жестянки, собрал обратно. Получилось не сразу - затвор не вставал на место. Артём повозился, но справился. Проверил - работает.

Сержант сидел рядом, чистил свою. Молча. Иногда поглядывал на Артёма - проверял, правильно ли. Артём старался делать правильно. Не потому, что боялся. А потому, что хотел, чтобы Сержант кивнул. Как тогда, с сапогом.

Сержант кивнул. Артём отложил винтовку.

Обед был тот же, что и завтрак, - каша, вода, кусок хлеба. Артём ел и слушал. Говорили о том, что где-то на Сержантнем участке была стычка, что немцы пытались прощупать оборону, что их отогнали. Говорили спокойно, без паники, как о чём-то обычном. Артём слушал и понимал: это и есть война. Не только бой. Не только стрельба. А вот это - каша, сапоги, портянки, разговоры. Тоже война. Может быть, самая настоящая.

После обеда пришёл человек - не из их окопа, откуда-то сверху. Он что-то сказал Сержанту, Сержант кивнул, и человек ушёл. Артём не слышал, о чём говорили. Но по лицу Сержанта понял: что-то будет. Не сегодня, так завтра. Сержант не сказал ни слова. Просто сел и закурил. Дым пошёл вверх - ровно, спокойно, без ветра.

Артём сел рядом. Молча. Смотрел вперёд, туда, где окоп поворачивал. За поворотом ничего не было видно - только земля и серое небо. Но он знал: там что-то есть. Или будет. И он должен быть готов.

Он думал о том, что было. О темноте. О свете. О том, что не помнил. И о том, что помнил. Память не давала картинок, но давала ощущения. Холод. Голод. Страх. И ещё что-то - что-то, что было сильнее страха. Что-то, что заставляло копать, чинить, наматывать портянки. Не потому, что надо. А потому, что иначе нельзя.

Он не знал, что это было. Но чувствовал: это останется с ним. И здесь, в этом окопе, это будет нужно.

К вечеру - если это был вечер - стало холоднее. Артём подтянул шинель ближе к телу. Она была не его, но уже не казалась чужой. Просто шинель. Просто ткань. Просто тепло. Он смотрел на людей вокруг и думал: они тоже когда-то пришли в себя на дне окопа. Тоже не помнили, как здесь оказались. Тоже чувствовали то же, что и он. И тоже остались. Потому что идти некуда. Потому что надо. Потому что иначе нельзя.

Ночью он спал на земле, подстелив под себя шинель. Было холодно, жёстко, неровно. Но он спал.

Глава 4. Максим. Лесной быт

Холод разбудил его раньше, чем рассвет. Максим открыл глаза и первым делом почувствовал спину - ту её часть, которой он касался земли. Она онемела, одеревенела, как будто её не было. Он попробовал пошевелиться - тело отозвалось медленно, неохотно, как плохо смазанный механизм.

Он лежал на лапнике. Ветки под ним были сухими, колкими, с обломанными концами. Они пахли не лесом, а чем-то застоявшимся, прелым, как будто лежали здесь давно. Максим сгрёб их в кучу, поднялся. Ноги затекли, стопы не слушались. Он постоял, переступая с ноги на ногу, пока кровь не пошла быстрее.

Костёр уже горел. Вчера он тлел, едва живой, отдавая больше дыма, чем тепла. Сегодня кто-то подбросил веток, и огонь поднялся выше, стал жарче. Над ним висел котелок - тот же, закопчённый, с погнутой ручкой. В котелке что-то булькало. Пахло не то кашей, не то похлёбкой - чем-то горячим, что можно было есть.

Люди вокруг уже встали. Кто-то чистил винтовку, кто-то сворачивал одеяло, кто-то сидел у костра и грел руки. Партизан со шрамом стоял в стороне, спиной к огню, и смотрел в лес. Он

не двигался, не говорил. Просто стоял и смотрел. Максим подошёл к костру, сел на корточки. Ему дали ложку - деревянную, грубо вырезанную, с обожжённым концом. Он взял.

Похлёбка была жидкой, с редкими кусочками чего-то, что трудно было назвать овощами. Но она была горячей. Максим ел медленно, чувствуя, как тепло расходится по телу, как отпускает спина, как перестают дрожать пальцы. Он не поднимал головы. Слушал.

Говорили о вчерашнем - о том, что где-то слышали стрельбу, что, может быть, это были свои, а может, и нет. Говорили о том, что скоро надо менять место - стоять на одном месте долго нельзя. Говорили о еде - что крупа кончается, что надо будет что-то придумывать. О доме не говорили. Утром о доме не говорили.

После еды партизан со шрамом подошёл к Максиму. Не сказал ни слова. Только кивнул - иди за мной. Максим встал. Пошёл.

Они отошли от костра шагов на двадцать. Партизан остановился у поваленного дерева - старого, трухлявого, с обломанной верхушкой. Он показал на землю вокруг. Максим посмотрел. Земля была истоптана - следами, старыми и новыми, вмятинами от котелка, обрывками чего-то. Партизан показал на следы, потом на Максима, потом на лес. Максим не понял. Партизан показал ещё раз: на следы, на лес, на Максима. Потом нагнулся, взял горсть земли и рассыпал её по следам. Следы стали менее заметными. Не исчезли - но стали менее заметными.

Максим понял: прятать следы.

Он взял горсть земли, рассыпал по другому следу. Получилось хуже - земля легла неровно, след всё равно был виден. Партизан молчал. Максим попробовал снова. Опять неровно. Партизан молчал. Максим попробовал в третий раз - рассыпал землю медленнее, разравнивая её ладонью. След стал почти незаметным. Партизан посмотрел, кивнул. И пошёл обратно к костру.

Максим остался. Он разровнял ещё несколько следов - уже увереннее, уже зная, как надо. Потом догнал партизана.

- Понял? - спросил партизан. Голос у него был негромкий, спокойный.

- Понял, - сказал Максим.

Партизан кивнул и больше ничего не сказал.

Дальше был день - или то, что в лесу называлось днём. Светло стало, и это было всё, что можно было сказать. Солнце не вышло, небо не расчистилось. Просто серое полотно стало чуть светлее. По этому свету определяли время.

Максим сушил одежду. Держал куртку над огнём, поворачивал её, чтобы сохла равномерно. Пахло дымом, мокрой шерстью, чем-то ещё - застоявшимся, тяжёлым. Другие делали то же самое. Никто не говорил. Просто делали.

Потом партизан со шрамом показал, как ставить силки на зайца. Это было сложнее, чем казалось. Нужно было найти тропу - узкую, едва заметную, по которой зверь ходит. Нужно было натянуть проволоку - не слишком туго, не слишком слабо. Нужно было замаскировать её листвой, ветками, землёй. Нужно было сделать так, чтобы заяц не почуял, не увидел, не обошёл.

Партизан показал всё это молча - руками, пальцами, движениями. Максим смотрел. Запоминал. Потом попробовал сам. Проволока была тонкой, жёсткой, плохо гнулась. Он натянул её, но слишком слабо - заяц прошёл бы. Попробовал снова - слишком туго, проволока лопнула. Партизан молчал. Максим взял новый кусок, натянул ещё раз. Получилось лучше. Не идеально, но лучше. Партизан посмотрел, кивнул. Отошёл.

Максим остался сидеть на корточках, глядя на свою работу. Проволока держалась. Маскировка была грубой, но следов не выдавала. Он поднялся. Пошёл к костру.

Он не знал, кто этот партизан. Не знал его имени, не знал, откуда он. Но это было не важно. Важно было, что он показал. Что он не прошёл мимо. Что он кивнул.

После обеда - если это был обед - партизан со шрамом подошёл к нему снова. На этот раз он нёс что-то в руках. Небольшой мешок - серый, залатанный, с завязками. Он развязал его и высыпал содержимое на землю. Картошка. Мёрзлая, сморщенная, с тёмными пятнами. Но картошка.

Партизан показал на картошку, потом на Максима, потом на нож, лежавший рядом. Максим понял: чистить. Он взял нож, взял картофелину. Нож был тупой, картошка - твёрдой, как камень. Он срезал кожуру - толстым слоем, с мясом. Партизан молчал. Максим попробовал снова - тоньше. Получилось лучше. Партизан кивнул.

Они чистили картошку вместе. Молча. Партизан - быстро, уверенно, почти не глядя на руки. Максим - медленнее, осторожнее, иногда останавливаясь, чтобы поправить нож. Он смотрел на руки партизана - на шрам на щеке, на обкусанные ногти, на рубец на костяшке. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Партизан заговорил. Негромко, не поднимая головы. О том, что картошку надо варить в кожуре - так сытнее. О том, что воду надо брать из ручья, а не из лужи. О том, что костёр надо разводить так, чтобы дым не шёл вверх - иначе увидят. Максим слушал. Запоминал. Не перебивал.

Потом партизан замолчал. Смотрел на картошку в своих руках. Молчал. Максим смотрел на него - на то, как он ссутулился, как сжал нож, как смотрит в землю, будто видит там что-то своё. И думал: он тоже не знает, кто враг. Но он знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Картошку сварили в котелке - в кожуре, как сказал партизан. Ели горячей, обжигаясь, запивая водой из ручья. Вода была холодной, чистой, живой. Максим пил и думал: это тоже важно. Не только прятать следы. Не только ставить силки. Важно ещё есть горячую картошку. Пить чистую воду. Сидеть у костра. Смотреть на людей. Молчать вместе с ними.

Он не знал, о чём думают другие. Но чувствовал: они думают о том же. Или - почти о том же. И это тоже объединяло. Как костёр. Как котелок. Как картошка. Как лес.

Они сидели и смотрели в огонь.

Потом партизан заговорил. Тихо, глядя в огонь. Не о доме - о другом. О том, что было раньше. О том, как они здесь оказались. О том, что было до леса. Максим слушал. Не перебивал. Не спрашивал. Просто слушал. И постепенно начинал понимать: этот человек знает что-то, чего не знает он. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Партизан замолчал. Смотрел в огонь. Молчал. Максим смотрел на него - на шрам, на то, как он ссутулился, как сжал колени руками, как смотрит в огонь, будто видит там что-то своё. И думал: он тоже не знает, кто враг. Но он знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Максим подложил в костёр ветку. Огонь принялся, треснул. Он смотрел на пламя.

Глава 5. Артём. Приказ

Приказ пришёл утром, но не сразу. Сначала было просто утро - серое, тяжёлое, с низким небом и сырым холодом, который поднимался от земли и оседал на плечах. Артём проснулся от того, что замёрзла спина. Он лежал на боку, подтянув колени к груди, укрытый шинелью, которая пахла землёй и чужим табаком. Шинель была не его - он так и не привык к этой мысли. Но она грела. Пока он не пошевелился.

Он сел, комья глины покатились вниз, за воротник. Артём не обратил на это внимания. Он смотрел на людей вокруг. Кто-то уже встал, кто-то ещё спал, кто-то сидел у костра и грел руки. Всё было как обычно. И всё же что-то было не так. Что-то висело в воздухе - невидимое, но ощутимое. Как перед грозой.

Сержант - тот самый, с усами и обветренным лицом, - сидел у костра и смотрел в огонь. Он не курил, не ел, не чинил ничего. Просто сидел и смотрел. Артём подошёл, сел рядом. Сержант не повернул головы. Но сказал - тихо, негромко, как будто говорил сам с собой:

- Сегодня.

Артём не спросил, что сегодня. Не потому, что не хотел знать. Потому что понял: Сержант не ответит. Или ответит не то. Или - ответит то, что Артём и сам знал. Сегодня. Что-то будет сегодня.

Они ели кашу - ту же, что и всегда, серую, густую, с редкими кусочками чего-то. Артём ел медленно, не поднимая головы. Слушал. Говорили о разном - о вчерашнем обстреле, о том, что где-то достали табак, о том, что скоро, наверное, дадут приказ. О доме не говорили. Утром о доме не говорили.

После еды Сержант подозвал его к себе. Они отошли в конец окопа - туда, где стенка была выше, а людей меньше. Сержант достал из кармана сложенный вчетверо листок. Протянул Артёму.

Артём взял. Бумага была мягкой, затёртой по сгибам, с машинописным текстом, который расплывался перед глазами. Он прочитал медленно, шевеля губами. Слова были простые: держать высоту. Не отходить. Не сдавать. Ничего лишнего. Ничего такого, чего нельзя было бы сказать вслух.

Он складывал листок вчетверо, медленно, разглаживая сгибы пальцами. Дело привычное. Держали и раньше. Будем держать и теперь.

- Понял? - спросил Сержант.

- Понял, - сказал Артём.

Сержант кивнул. И больше ничего не сказал.

Позже Артём увидел, как приказ идёт дальше. Сержант не был командиром - он был таким же бойцом, как Артём, как все. Но приказ шёл через него. Он подходил к другим - к тем, кто сидел у костра, к тем, кто чинил сапоги, к тем, кто дремал в конце окопа, - и что-то говорил им. Коротко. Тихо. Несколько слов. И шёл дальше. И те, кому он говорил, кивали. И тоже вставали. И тоже начинали делать что-то - проверять оружие, подтягивать ремни, смотреть вперёд.

Артём смотрел на это и понимал: приказ - это не бумага. Бумага - это просто бумага. Приказ - это цепочка. Один сказал другому. Другой - третьему. Третий - четвёртому. И так до тех пор, пока не доходит до всех. И когда доходит - все начинают делать одно и то же. Не потому, что боятся. А потому, что так надо. Потому что иначе нельзя.

Он подумал: а кто сказал первому? Тот, кто был сверху? Тот, кто принёс листок? Или тот, кто был ещё выше? Артём не знал. И не пытался узнать. Это было не его дело. Его дело было - держать высоту. Всё остальное - не его.

Сержант вернулся. Сел рядом. Молча. Достал кисет, свернул самокрутку, прикурил. Артём смотрел на дым и думал: вот это и есть приказ. Не бумага. Не слова. А вот это - сидеть рядом, курить, смотреть вперёд и знать, что будет.

Артём сел на землю, прислонившись спиной к стенке окопа. Стенка была холодной, сырой, осыпалась под лопатками. Он не обратил на это внимания. Смотрел вперёд, туда, где окоп поворачивал. Там, за поворотом, была высота - бугор, поросший редкой травой, с вытоптанной вершиной. Такой же, как десятки других вокруг. Ничем не примечательный. Просто бугор. Просто земля. Просто место, которое надо было держать.

Он смотрел на высоту и думал. Не о бое - о том, что будет после. Или до. Или вместо. Он не знал, что будет. Но знал, что высоту надо держать. Это было простое знание, которое не требовало доказательств. Как земля под ногами. Как небо над головой. Как винтовка в руках.

- Почему именно эту? - спросил Артём. Он не планировал спрашивать. Слова вышли сами.

Сержант молчал. Долго. Смотрел в сторону, как будто искал ответ не в себе, а где-то там, за окопом. Потом сказал:

- Затем, что если не мы - то кто.

Артём кивнул. Слова были простые. Но за ними было что-то. Что-то, что он не мог назвать. Что-то, что было важнее его самого. Важнее его страха. Важнее его жизни.

Сержант докурил, затушил окурок о стенку окопа, спрятал кисет в карман.

Потом они готовили окоп. Углубляли, укрепляли стенки, проверяли оружие. Артём делал то же, что и все. Молча. Сосредоточенно. Как будто от этого зависело что-то. Что-то, что было важнее его.

Лопата входила в землю туго - глинистая, с камнями, она не хотела поддаваться. Артём нажимал сильнее, выкидывал землю на бруствер, снова нажимал. Руки гудели, спина ныла, но он не останавливался. Рядом копали другие. Молча. Размеренно. Как будто делали это не в первый раз.

Он смотрел на руки других - на широкие ладони, на мозоли, на грязь под ногтями. И думал: эти руки делали то же самое вчера. И позавчера. И будут делать завтра. Если будет завтра. Он не знал, будет ли. Но копал. Потому что надо. Потому что иначе нельзя.

Потом проверяли оружие. Артём разобрал затвор, протёр тряпицей, смазал маслом из маленькой жестянки, собрал обратно. Получилось не сразу - затвор не вставал на место. Он повозился, но справился. Проверил - работает. Сержант сидел рядом, чистил свою. Молча. Иногда поглядывал на Артёма - проверял. Артём старался делать правильно.

Он не знал, кто этот Сержант. Не знал его имени, не знал, откуда он. Но это было не важно. Важно было, что он рядом. Что он проверяет. Что он не ушёл.

Ближе к полудню - если это был полдень - Артём поднялся на бруствер. Не для того, чтобы посмотреть на высоту. Просто чтобы размяться. Ноги затекли от сидения, спина не гнулась. Он стоял, смотрел вперёд, растирал ладонями поясницу.

Рядом оказался боец - молодой, с тонкой шеей и острыми плечами. Тот самый, что чинил сапог в первый день. Он стоял, смотрел вперёд, жевал травинку. Молчал. Артём тоже молчал. Они стояли рядом и смотрели в одну сторону.

Потом боец сказал - негромко, не поворачивая головы:

- Ты откуда?

Артём не сразу понял, что вопрос - к нему. Он не знал, что ответить. Не помнил. Не знал, откуда он. Знал только, что он здесь. И что он - свой. Но это было не то, что спрашивали.

- Не помню, - сказал он.

Боец кивнул. Не удивился. Не переспросил. Как будто это был обычный ответ. Как будто многие не помнили.

- Бывает, - сказал он. - Здесь многие не помнят. Главное - что ты здесь.

Артём кивнул. И это было важно. Не слова. А то, что боец не удивился. Что он принял ответ. Что он не стал допытываться. Что он просто стоял рядом и жевал травинку.

Они стояли ещё немного. Потом боец сплюнул травинку, кивнул Артёму и пошёл обратно в окоп. Артём остался. Смотрел вперёд. На высоту. На бугор. На место, которое надо было держать.

Потом ждали. Молчали. Смотрели вперёд - туда, где должен появиться враг. Артём смотрел тоже. Кого ждать - знал. Что будет - знал. Как будет - не знал. Но это было не важно. Важно было то, что он здесь. Что он делает то, что надо. Что он не один.

Он смотрел на Сержанта - на его руки, на его лицо, на то, как он сидит. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать. И ещё он думал: если не мы - то кто. Он не знал, кто этот «кто». Но чувствовал: это важно. Важнее, чем он сам. Важнее, чем его страх.

День тянулся медленно. Светло стало - и всё. Солнце не вышло, небо не расчистилось. Просто серое полотно стало чуть светлее. По этому свету определяли время.

Артём сидел на земле, прислонившись спиной к стенке окопа, и смотрел вперёд. Высота была видна - бугор, поросший редкой травой, с вытоптанной вершиной. На вершине ничего не было. Ни людей, ни техники, ни движения. Просто бугор. Просто земля. Просто место, которое надо было держать.

Он думал о том, что было. О темноте. О свете. О том, что не помнил. И о том, что помнил. Память не давала картинок, но давала ощущения. Холод. Голод. Страх. И ещё что-то - что-то, что было сильнее страха. Что-то, что заставляло копать, чинить, ждать. Не потому, что надо. А потому, что иначе нельзя.

Он не знал, что это было. Но чувствовал: это останется с ним. И здесь, на этой высоте, это будет нужно.

Сержант подошёл, сел рядом. Молча. Достал флягу, протянул Артёму. Артём взял. Вода была тёплой, с металлическим привкусом. Он пил медленно, маленькими глотками. Потом вернул флягу. Кивнул. Сержант кивнул в ответ.

- Скоро, - сказал Сержант. Негромко, спокойно.

Артём кивнул. Он не спросил, что скоро. Не спросил, откуда Сержант знает. Он просто кивнул. И стал ждать.

Ждать пришлось недолго. Или долго - Артём не знал. Время в окопе текло иначе. Оно не делилось на часы. Оно делилось на события. Вот Сержант докурил самокрутку. Вот кто-то прошёл мимо, неся котелок с водой. Вот где-то далеко ухнуло - глухо, ритмично. Артём вздрогнул, но Сержант даже не повернул головы. Значит, привык. Значит, это было обычно.

Потом стало тихо. Не мирно тихо - страшно тихо. Как будто всё замерло. Птицы замолчали. Ветер стих. Даже уханье прекратилось. Артём сидел, смотрел вперёд и слушал тишину. Она была плотной, тяжёлой, как вода. В ней тонули звуки. В ней тонули мысли.

Сержант поднялся. Молча. Взял винтовку. Артём поднялся тоже. Взял свою. Они стояли рядом, смотрели вперёд. Ждали.

И тут тишина лопнула.

Глава 6. Максим. Задание

Задание принесла разведчица - молодая женщина в мужской куртке, с обветренным лицом и быстрыми глазами. Она вышла из леса со стороны оврага, не таясь, но и не спеша. Первой её заметил часовой - партизан с винтовкой, стоявший у поваленного дерева. Часовой окликнул её, она ответила, он кивнул и пропустил. Она прошла через лагерь, не оглядываясь, и остановилась у костра, где сидели командиры.

Максим был в стороне - чистил винтовку после утреннего обхода. Он не слышал, о чём говорили. Видел только, как разведчица достала из-за пазухи сложенный вчетверо листок, как командир - тот самый партизан со шрамом на щеке - взял его, прочитал, кивнул. Как остальные командиры склонились над листком, разглядывая что-то нарисованное. Как разведчица показала рукой куда-то на запад - за лес, за овраг, за линию, которую Максим не мог видеть.

Потом командир со шрамом поднял голову и посмотрел в его сторону. Не на него - в сторону. Но Максим понял: это касается и его.

Он отложил винтовку. Подошёл. Командир протянул ему листок. Максим взял.

Бумага была плотной, серой, с неровными краями - вырванная из блокнота. На ней был нарисован мост - схематично, грубо, но узнаваемо: две опоры, пролёт, подходы с двух сторон. Рядом - пометки, сделанные химическим карандашом: цифры, стрелки, крестики. Максим не сразу понял, что они значат. Но понял главное: мост. Немцы ходят. Свои когда-то ходили. Теперь - надо взорвать.

Он складывал листок вчетверо, медленно, разглаживая сгибы пальцами. Дело привычное. Взорвать - не впервой. Взорвём и теперь.

- Понял? - спросил командир. Голос у него был негромкий, спокойный, как у человека, который знает, что говорит.

- Понял, - сказал Максим.

Командир кивнул. И больше ничего не сказал.

Максим отошёл в сторону, сел на поваленное дерево. Ветка под ним хрустнула, осыпалась трухой. Он развернул листок снова, посмотрел на схему. Мост был небольшой - не такой, как на больших дорогах, а деревенский, через узкую реку. Две опоры, деревянный пролёт, перила. По такому мосту могли ходить машины - небольшие, гружёные, может быть, даже танки, если осторожно. Или могли ходить люди. Много людей. Регулярно. Каждый день. Туда и обратно.

Он смотрел на схему и думал: немцы ходят. Свои когда-то ходили. Теперь - не ходят. Теперь - надо взорвать. Чтобы немцы не ходили. Чтобы свои - снова ходили. Или - чтобы никто не ходил. Чтобы моста не было. Чтобы река снова стала преградой. Чтобы враг не прошёл.

Он не знал, кто этот враг. Он знал, что враг есть. Знал, что враг где-то рядом - за лесом, за оврагом, за линией, которую он не мог видеть. Но не мог указать на него пальцем. Не мог сказать: вот он. Потому что враг - не тот, кто говорит на другом языке. Не тот, кто пришёл с чужой земли. Не тот, кто в другой форме. Враг был где-то ещё. Где - Максим не знал. Но чувствовал: это важно. Важнее, чем всё остальное.

Он сложил листок, убрал в карман. Встал. Пошёл к командиру.

- Почему именно этот? - спросил он. Он не планировал спрашивать. Слова вышли сами.

Командир молчал. Долго. Смотрел в сторону - туда, где за лесом была река, мост, линия. Потом сказал:

- Затем, что если не мы - то кто.

Максим кивнул. Слова были простые. Но за ними было что-то. Что-то, что он не мог назвать. Что-то, что было важнее его самого. Важнее его страха. Важнее его жизни.

Командир смотрел на него ещё немного - долго, внимательно. Потом отвернулся. К своим делам. К своей жизни. Максим остался. С заданием. С мостом. С чем-то, что было внутри.

Они готовили взрывчатку. Проверяли, чинили, собирали. Максим делал то же, что и все. Молча. Сосредоточенно. Как будто от этого зависело что-то. Что-то, что было важнее его.

Взрывчатка была старой - тол, в бумажных пачках, с потёками и разводами. Командир со шрамом раскладывал пачки на доске, проверял каждую, отбрасывал подозрительные. Максим смотрел, как он это делает - медленно, уверенно, без суеты. Как он нюхает тол, как растирает его между пальцами, как проверяет запал. Как будто это было не оружие, а хлеб. Или лекарство. Или что-то ещё, что требует внимания.

Потом командир показал, как собирать заряд. Как соединять пачки, как вставлять запал, как крепить всё это, чтобы держалось. Максим повторял. Получалось не сразу - пальцы скользили, тол крошился, запал не вставал на место. Командир молчал. Не помогал. Не мешал. Просто смотрел. Максим повторял снова. Получалось лучше. Командир кивал. Отходил.

Максим остался сидеть на доске, глядя на свою работу. Заряд был готов - грубый, неуклюжий, но готовый. Он поднялся. Пошёл к костру.

Он не знал, кто этот командир. Не знал его имени, не знал, откуда он. Но это было не важно. Важно было, что он показал. Что он не прошёл мимо. Что он кивнул.

Ждали. Молчали. Смотрели вперёд - туда, где был мост. Максим смотрел тоже. Что будет - знал. Получится ли - не знал. Но это было не важно. Важно было то, что он здесь. Что он делает то, что надо. Что он не один.

Разведчица - та самая, что принесла задание, - сидела у костра и что-то чертила на земле прутиком. Максим подсел к ней. Не близко - на расстоянии, которое было достаточно близким,

чтобы считаться своим, и достаточно далёким, чтобы не быть навязчивым. Она не подняла головы. Продолжала чертить. Он смотрел.

На земле был тот же мост - две опоры, пролёт, подходы. Но теперь он был обведён кружком, и от него шли стрелки - в разные стороны, к лесу, к оврагу, к деревне. Разведчица показывала, откуда можно подойти, где можно спрятаться, где можно уйти.

- Здесь, - сказала она, ткнув прутиком в одну из стрелок. - Охрана. Двое. Меняются каждые два часа. - Ткнула в другую. - Здесь - подход. Открытый. Простреливается. - Ткнула в третью. - Здесь - лес. Можно подойти близко. Но - мины.

Максим слушал. Запоминал. Не перебивал. Не спрашивал. Просто слушал. И постепенно начинал понимать: этот человек знает что-то, чего не знает он. Что-то, что она не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Она замолчала. Смотрела на землю. Молчала. Максим смотрел на неё - на то, как она ссутулилась, как сжала прутик, как смотрит в землю, будто видит там что-то своё. И думал: она тоже не знает, кто враг. Но она знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Он подложил в костёр ветку. Огонь принялся, треснул. Он смотрел на пламя.

Ночью Максим не спал. Лежал на лапнике, смотрел в ветки, слушал лес. Лес был полон звуков - не громких, не тревожных, но полных. Где-то трещала ветка. Где-то капала вода. Где-то кричала птица - не ночная, не дневная, а какая-то потерянная, которая не знала, что ей делать.

Он думал о мосте. Не о взрыве - о том, что будет после. Или до. Или вместо. Он не знал, что будет. Но знал, что мост надо взорвать. Это было простое знание, которое не требовало доказательств. Как земля под ним. Как ветки над ним. Как винтовка рядом.

Он думал о командире со шрамом. О его руках, о его голосе, о том, как он сказал: «Если не мы - то кто». Он не знал, кто этот «кто». Но чувствовал: это важно. Важнее, чем он сам. Важнее, чем его страх.

Он думал о разведчице. О её прутике, о её стрелках, о том, как она сказала: «Здесь - мины». Он не знал, что это значит. Но понимал: это важно. Это то, что может убить. Или - то, что может спасти.

Он думал о себе. О том, что не помнил. О том, что помнил. Память не давала картинок, но давала ощущения. Холод. Голод. Страх. И ещё что-то - что-то, что было сильнее страха. Что-то, что заставляло идти вперёд, даже когда идти было некуда.

Он не знал, что это было. Но чувствовал: это останется с ним. И здесь, у этого моста, это будет нужно.

Перед выходом проверяли оружие. Максим разобрал затвор, протёр тряпицей, смазал маслом из маленькой жестянки, собрал обратно. Получилось не сразу - затвор не вставал на место. Он повозился, но справился. Проверил - работает. Потом проверил заряд - тот самый, что собирал вместе с командиром. Запал на месте, тол держится, крепление надёжное. Он повертел заряд в руках, взвесил. Тяжёлый. Но нести можно.

Командир со шрамом подошёл, посмотрел на его работу. Молча. Потом кивнул. И отошёл. Максим убрал заряд в мешок, затянул завязки. Встал. Пошёл к остальным.

Они стояли у края лагеря - человек десять, может, больше. Молчали. Смотрели в лес. Ждали. Максим встал рядом с командиром. Тот не повернул головы. Но сказал - тихо, негромко:

- Идём.

Вышли перед рассветом. Не строились, не строились в колонну - просто пошли, друг за другом, растянувшись по лесу. Максим шёл третьим - за командиром со шрамом и разведчицей. За ним - остальные. Человек десять. Может, больше. Он не считал.

Лес был мокрым, тяжёлым, с ветками, которые хлестали по лицу. Под ногами чавкала земля - не грязь, но что-то близкое к ней, вязкое, холодное. Максим шёл, смотрел под ноги,

чтобы не споткнуться, и слушал. Лес был полон звуков - не громких, не тревожных, но полных. Где-то трещала ветка. Где-то капала вода. Где-то кричала птица - не ночная, не дневная, а какая-то потерянная, которая не знала, что ей делать.

Они спустились в овраг. Дно было сырым, илистым, с лужами, в которых отражалось серое небо. Ноги скользили, приходилось хвататься за ветки, за корни, за что попало. Максим шёл, не поднимая головы, смотрел на спину разведчицы - на её куртку, на то, как она двигается. Она шла уверенно, не спотыкаясь, как будто знала каждый камень, каждую корягу, каждую лужу.

Потом овраг кончился. Они поднялись на другой берег - медленно, цепляясь за траву, за кусты, за землю. Максим вылез последним. Стоял, тяжело дышал, смотрел вперёд.

Там, за деревьями, была река. За рекой - мост.

Командир со шрамом остановился. Поднял руку. Все остановились. Молча. Смотрели вперёд.

Максим смотрел вперёд и ждал.

Глава 7. Артём. Первый бой

Бой начался утром, но не с сигнала. Сначала было просто утро - такое же, как вчера, как позавчера, как все утра в этом окопе. Серое небо, сырой холод, каша в котелке, разговоры вполголоса. Артём проснулся, сел, размял затёкшие пальцы.

Сержант сидел у костра, смотрел в огонь. Не курил, не ел. Просто смотрел. Артём подошёл, сел рядом. Сержант не повернул головы. Но сказал - тихо, негромко:

- Сегодня.

Артём не спросил, что сегодня. Понял: Сержант не ответит. Или ответит не то. Или - ответит то, что Артём и сам знал.

Они ели кашу. Молча. Артём смотрел на ложку в своей руке - деревянную, грубо вырезанную, с обожжённым концом. Он не помнил, откуда она взялась. Может быть, дали. Может быть, нашёл. Может быть, была с ним всегда. Он не знал. Но она была, и это было важно.

После еды Сержант подозвал его к себе. Они отошли в конец окопа. Сержант достал из кармана сложенный вчетверо листок. Протянул Артёму.

Артём взял. Бумага была мягкой, затёртой по сгибам. Он прочитал медленно, шевеля губами. Слова были простые: держать высоту. Не отходить. Не сдавать. Ничего лишнего. Ничего такого, чего нельзя было бы сказать вслух.

Он складывал листок вчетверо, медленно, разглаживая сгибы пальцами. Дело привычное. Держали и раньше. Будем держать и теперь.

- Понял? - спросил Сержант.

- Понял, - сказал Артём.

Сержант кивнул. И больше ничего не сказал.

Потом их подняли. Не по команде, не по сигналу - просто Сержант встал, и Артём встал, и другие встали. Молча. Пошли по окопу - к тому месту, где окоп поворачивал и выходил к высоте. Там была цепь - редкая, растянутая по брустверу, с промежутками в несколько шагов. Артём встал в цепь. Сержант - рядом. Слева - боец с тонкой шеей, тот самый, что чинил сапог. Справа - кто-то ещё, кого Артём не знал.

Он стоял и смотрел вперёд. Высота была видна - бугор, поросший редкой травой, с вытоптанной вершиной. На вершине ничего не было. Ни людей, ни техники, ни движения. Просто бугор. Просто земля. Просто место, которое надо было держать.

Артём держал винтовку. Руки были холодными, пальцы плохо слушались. Он подышал на них, растёр. Не помогло. Он перехватил винтовку удобнее, проверил затвор. Всё было на месте. Всё было готово. Он был готов. Или - почти готов.

Он ждал. Не знал чего. Но ждал. Как ждали все вокруг. Как ждал Сержант. Как ждал боец с тонкой шеей. Как ждали все, кто стоял в этой цепи.

Потом стало тихо. Не мирно тихо, не сонно, не пусто. Страшно тихо. Как будто всё замерло и ждало. Птицы замолчали. Ветер стих. Даже уханье - то самое, далёкое, глухое, ритмичное - прекратилось. Артём стоял и слушал тишину. Она была плотной, тяжёлой, как вода. В ней тонули звуки. В ней тонули мысли.

Он смотрел вперёд. На высоту. На бугор. На место, которое надо было держать. И думал: сейчас. Сейчас что-то будет. Что-то, что он не мог назвать. Но чувствовал: это близко. Это уже рядом. Это вот-вот.

Сержант стоял рядом. Молча. Смотрел вперёд. Не двигался. Не курил. Не говорил. Просто стоял. И это было важно. Не слова. А то, что он стоит. Что он рядом. Что он не ушёл.

Артём держал винтовку. Пальцы на цевье. Холодное дерево. Он держал её крепче, чем раньше. Не потому, что боялся. А потому, что знал: она понадобится. Скоро. Очень скоро.

Потом - всё сразу.

Крики. Взрывы. Свист. Свист был странным - не такой, как в кино, не такой, как в рассказах. Он был тонким, звенящим, как будто где-то рядом рвали бумагу. Или - как будто кто-то проводил мокрым пальцем по стеклу. Артём не успел понять, что это. Он просто услышал - и пригнулся. Или - его пригнули. Или - он сам пригнулся. Не помнил.

Он стрелял. Не думал - стрелял. Как учили. Как показали. Как получалось. Винтовка дёргалась в руках, отдача била в плечо, гильзы падали под ноги. Он не считал выстрелы. Не считал патроны. Просто стрелял. Туда, где были серые фигуры. Туда, где были вспышки. Туда, где было что-то, что надо было остановить.

Рядом был Сержант. Молчаливый боец - тот самый, с усами и обветренным лицом. Они прикрывали друг друга. Меняли магазины без слов. Как будто делали это вместе годами. Как будто знали друг друга всю жизнь. Хотя не знали. Не знали имён. Не знали, откуда кто. Но знали главное: он рядом. Он прикроет. Он не уйдёт.

Артём не думал. Просто стрелял. Как учили. Как показали. Как получалось.

Он не слышал, как кричал. Не слышал, как стрелял Сержант. Не слышал, как падали гильзы. Он слышал только свист - тонкий, звенящий, как будто кто-то рвал бумагу. Или - как будто кто-то проводил мокрым пальцем по стеклу. И этот свист был везде. В нём. Вокруг него. Над ним.

И тут он увидел немца. В прицеле. Молодое лицо. Испуганное. Потное. С прилипшей ко лбу прядью. Он стоял на коленях, или лежал, или просто был - Артём не понял. Но видел лицо. Видел глаза. Видел страх. Видел что-то ещё - что-то, что было знакомым. Что-то, что он видел в себе. Или в Сержанте. Или в ком-то ещё.

Палец на спуске. Он не стрелял. Или - стрелял. Не помнил. Но помнил: это был человек. Просто человек. Такой же, как он. С такими же руками. С такими же глазами. С таким же страхом.

Он замер. На секунду. Или - на две. Время растянулось. Он видел глаза немца. Видел страх. Видел что-то ещё - что-то, что было важнее страха. Что-то, что он не мог назвать. Что-то, что было в нём самом. Или - в немце. Или - в них обоих.

Немец смотрел на него. Не мигая. Не двигаясь. Как будто ждал. Как будто знал, что будет. Как будто - просил. Или - не просил. Или - просто смотрел. Просто смотрел. Как смотрит человек на человека. Когда больше нечего сказать. Когда больше нечего сделать. Когда остаётся только смотреть.

Артём держал палец на спуске. Не стрелял. Не мог. Не хотел. Но знал: надо. Надо стрелять. Потому что - враг. Потому что - немец. Потому что - война. Потому что - иначе нельзя.

Он не выстрелил. Или - выстрелил. Не помнил. Но помнил лицо. Помнил глаза. Помнил страх. И помнил что-то ещё - что-то, что было важнее страха. Что-то, что он не мог назвать. Что-то, что осталось с ним. И останется.

Потом немец исчез. Или - упал. Или - отполз. Артём не понял. Он снова стрелял и стрелял.

Бой кончился. Не сразу, не вдруг - постепенно. Сначала стихли крики. Потом - выстрелы. Потом - свист. Потом - всё. Дым рассеялся. Стало тихо. Не страшно тихо - просто тихо. Как будто всё выдохнуло. Как будто - отпустило.

Артём стоял. Смотрел на поле. На то, что было. На то, что осталось. На то, чего не будет. Он не считал. Не хотел. Не мог. Он просто стоял и смотрел. И дышал. Медленно. Глубоко. Как будто впервые за долгое время.

Сержант стоял рядом. Молча. Смотрел туда же. На поле. На то, что было. На то, что осталось. На то, чего не будет. Он не считал. Не хотел. Не мог. Он просто стоял и смотрел. И дышал. Медленно. Глубоко.

Артём вытирал ладонь о шинель - грязь, кровь, что-то ещё. Сжимал и разжимал пальцы. Смотрел на них. И думал: они стреляли. Эти пальцы. Эти руки. Они стреляли. Они убили. Или - не убили. Не помнил. Но стреляли. Это было точно. Они стреляли.

Сержант повернулся к нему. Посмотрел - долго, внимательно. Потом сказал:

- Живой?

Артём кивнул. Не сразу. Через секунду. Или - через две. Но кивнул.

- Живой, - сказал он. Голос был хриплый, чужой. Как будто говорил не он, а кто-то другой. Кто-то, кто был в нём. Или - вместо него.

Сержант кивнул. И больше ничего не сказал. Он не сказал: «Молодец». Не сказал: «Так надо». Не сказал: «Это война». Он просто кивнул. И это было важно. Не слова. А то, что он кивнул. Что он не ушёл.

Они стояли на краю окопа и смотрели на поле. Поле было серым, мокрым, изрытым воронками. На нём лежали тела - серые, неподвижные, неразличимые. Артём не знал, кто это. Свои? Чужие? Он не мог отличить. Не хотел. Не мог. Он просто смотрел. И думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал.

Сержант стоял рядом. Молча. Смотрел туда же. На поле. На тела. На то, что было. На то, что осталось. На то, чего не будет. Он не считал. Не хотел. Не мог. Он просто стоял и смотрел. И дышал. Медленно. Глубоко.

Артём думал: это был человек. Просто человек. Стрелял ли он в него - не помнит. Попал ли - не помнит. Но помнит лицо. Помнит страх. Помнит что-то ещё - что-то, что было важнее страха. Что-то, что он не мог назвать.

Он смотрел на свои руки. На грязь под ногтями. На ссадины на костяшках. На что-то ещё - тёмное, засохшее. Кровь. Не его. Или - его. Не помнил. Но кровь была. И это было важно. Почему - он не понимал. Но чувствовал: это важно.

Ночью Артём сидел у костра. Не спал. Не мог. Смотрел в огонь. Сержант сидел рядом. Молча. Смотрел в огонь. Не курил. Не ел. Просто смотрел. Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он сидит. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Потом Сержант заговорил. Тихо, глядя в огонь. Не о бое - о другом. О том, что было раньше. О том, как они здесь оказались. О том, что было до окопа. Артём слушал. Не перебивал. Не спрашивал. Просто слушал. И постепенно начинал понимать: этот человек знает что-то, чего не знает он. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Сержант замолчал. Смотрел в огонь. Молчал. Артём смотрел на него - на то, как он ссутулился, как сжал колени руками, как смотрит в огонь, будто видит там что-то своё. И думал: он тоже не знает, кто враг. Но он знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Артём подложил в костёр ветку. Огонь принялся, треснул. Он смотрел на пламя.

Глава 8. Максим. Полицаи

Утром Максим проснулся от холода. Спина замёрзла, ноги не слушались, пальцы не гнулись. Он лежал на лапнике, укрытый чем-то, что не мог назвать. Куртка? Пальто? Обрывок брезента? Он не помнил, откуда это взялось. Но оно было, и оно грело - пока он не пошевелился.

Он сел. Ветки под ним хрустнули, осыпались иглами. Лапник был старый, сухой, с обломанными концами. Он пах не лесом, а чем-то прелым, застоявшимся, как будто лежал здесь давно. Максим сгрёб его в кучу, поднялся. Ноги затекли, стопы не слушались. Он постоял, переступая с ноги на ногу, пока кровь не пошла быстрее.

Костёр уже горел. Вчера он тлел, едва живой. Сегодня кто-то подбросил веток, и огонь поднялся выше, стал жарче. Над ним висел котелок - тот же, закопчённый, с погнутой ручкой. В котелке что-то булькало. Пахло не то кашей, не то похлёбкой - чем-то горячим, что можно было есть.

Люди вокруг уже встали. Кто-то чистил винтовку, кто-то сворачивал одеяло, кто-то сидел у костра и грел руки. Партизан со шрамом стоял в стороне, спиной к огню, и смотрел в лес. Он не двигался, не говорил. Просто стоял и смотрел. Максим подошёл к костру, сел на корточки. Ему дали ложку - деревянную, грубо вырезанную, с обожжённым концом. Он взял.

Похлёбка была жидкой, с редкими кусочками чего-то, что трудно было назвать овощами. Но она была горячей. Максим ел медленно, чувствуя, как тепло расходится по телу, как отпускает спина, как перестают дрожать пальцы. Он не поднимал головы. Слушал.

Говорили о вчерашнем - о том, что где-то слышали стрельбу, что, может быть, это были свои, а может, и нет. Говорили о том, что скоро надо менять место - стоять на одном месте долго нельзя. Говорили о еде - что крупа кончается, что надо будет что-то придумывать. О доме не говорили. Утром о доме не говорили.

После еды партизан со шрамом подошёл к Максиму. Не сказал ни слова. Только кивнул - иди за мной. Максим встал. Пошёл.

Они отошли от костра шагов на двадцать. Партизан остановился у поваленного дерева - старого, трухлявого, с обломанной верхушкой. Он показал на землю вокруг. Максим посмотрел. Земля была истоптана - следами, старыми и новыми, вмятинами от котелка, обрывками чего-то. Партизан показал на следы, потом на Максима, потом на лес. Максим не понял. Партизан показал ещё раз: на следы, на лес, на Максима. Потом нагнулся, взял горсть земли и рассыпал её по следам. Следы стали менее заметными. Не исчезли - но стали менее заметными.

Максим понял: прятать следы.

Он взял горсть земли, рассыпал по другому следу. Получилось хуже - земля легла неровно, след всё равно был виден. Партизан молчал. Максим попробовал снова. Опять неровно. Партизан молчал. Максим попробовал в третий раз - рассыпал землю медленнее, разравнивая её ладонью. След стал почти незаметным. Партизан посмотрел, кивнул. И пошёл обратно к костру.

Максим остался. Он разровнял ещё несколько следов - уже увереннее, уже зная, как надо. Потом догнал партизана.

- Понял? - спросил партизан. Голос у него был негромкий, спокойный.

- Понял, - сказал Максим.

Партизан кивнул и больше ничего не сказал.

Потом был день - или то, что в лесу называлось днём. Светло стало, и это было всё, что можно было сказать. Солнце не вышло, небо не расчистилось. Просто серое полотно стало чуть светлее. По этому свету определяли время.

Партизан со шрамом подошёл к нему снова. На этот раз он нёс что-то в руках. Небольшой мешок - серый, залатанный, с завязками. Он развязал его и высыпал содержимое на землю. Картошка. Мёрзлая, сморщенная, с тёмными пятнами. Но картошка.

Партизан показал на картошку, потом на Максима, потом на нож, лежавший рядом. Максим понял: чистить. Он взял нож, взял картофелину. Нож был тупой, картошка - твёрдой, как камень. Он срезал кожуру - толстым слоем, с мясом. Партизан молчал. Максим попробовал снова - тоньше. Получилось лучше. Партизан кивнул.

Они чистили картошку вместе. Молча. Партизан - быстро, уверенно, почти не глядя на руки. Максим - медленнее, осторожнее, иногда останавливаясь, чтобы поправить нож. Он смотрел на руки партизана - на шрам на щеке, на обкусанные ногти, на рубец на костяшке. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать.

Партизан заговорил. Негромко, не поднимая головы. О том, что картошку надо варить в кожуре - так сытнее. О том, что воду надо брать из ручья, а не из лужи. О том, что костёр надо разводить так, чтобы дым не шёл вверх - иначе увидят. Максим слушал. Запоминал. Не перебивал.

Потом партизан замолчал. Смотрел на картошку в своих руках. Молчал. Максим смотрел на него - на то, как он ссутулился, как сжал нож, как смотрит в землю, будто видит там что-то своё. И думал: он тоже не знает, кто враг. Но он знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Картошку сварили в котелке - в кожуре, как сказал партизан. Ели горячей, обжигаясь, запивая водой из ручья. Вода была холодной, чистой, живой. Максим пил и думал: это тоже важно. Не только прятать следы. Не только ставить силки. Важно ещё есть горячую картошку. Пить чистую воду. Сидеть у костра. Смотреть на людей. Молчать вместе с ними.

После обеда - если это был обед - партизан со шрамом подозвал его к себе. На этот раз он не показывал, не учил. Он просто сказал:

- Пойдём. Посмотрим.

Максим встал. Пошёл за ним. Они вышли из лагеря - не по тропе, а напрямик, через кусты, через овраг, через что-то ещё. Партизан шёл уверенно, не спотыкаясь, как будто знал каждый камень, каждую корягу, каждую лужу. Максим шёл за ним, стараясь не отставать.

Они остановились на краю леса - там, где деревья редели и начиналось поле. За полем была деревня. Небольшая - десятка два домов, с соломенными крышами, с садами, с заборами. Она стояла на склоне, и от леса её было видно всю - от края до края.

Партизан стоял за деревом, смотрел на деревню. Молча. Максим встал рядом, тоже смотрел. Он не знал, что искать. Но смотрел. Как партизан. Как все.

В деревне что-то происходило. Не сразу, не вдруг - постепенно. Сначала Максим увидел людей - небольшие фигурки, которые двигались по улице. Потом - машины. Не танки, не бронетранспортёры - просто машины, грузовые, с брезентовыми кузовами. Они стояли у въезда в деревню. Рядом с ними - люди в форме. Немцы.

Партизан не двигался. Не говорил. Просто смотрел. Максим смотрел тоже. И постепенно начинал понимать: это не просто деревня. Это деревня, в которой немцы. И не только немцы. Кто-то ещё. Кто-то, кто был с ними. Кто-то, кто был из деревни. Но - не свой. Или - свой, но не тот. Или - тот, но не свой.

Потом Максим увидел их. Полицаев. Они вышли из-за домов - не строем, не толпой, а по одному, по два, как хозяева, которые пришли не по праву, а по наглости. В сапогах, с повязками на рукавах, с винтовками. Они шли по улице уверенно, тяжело, как будто делали это не впервые. Как будто - всегда.

Максим смотрел на них. На их лица. Спокойные. Уверенные. Как будто они делают что-то обычное. Что-то, что надо. Он смотрел на их руки. На винтовки. На повязки. И думал: это враги. Но не немцы. Это - свои. Которые стали чужими. Как это возможно - он не понимал. Но видел. И это было страшнее, чем всё, что он видел раньше.

Полицаи забирали людей. Выводили из домов. Стариков, женщин, детей. Строили у стены. Убивали. Максим смотрел. Не мог отвести взгляд. Не мог не смотреть. Он видел лица полицаев. Спокойные. Уверенные. Как будто они делают что-то обычное. Что-то, что надо. Он видел лица тех, кого они забирают. Испуганные. Растерянные. Живые.

Он смотрел на это и не мог пошевелиться. Руки впились в кору дерева. Он не дышал. Или - дышал, но не слышал. Он смотрел. И запоминал. Каждое лицо. Каждый выстрел. Каждое тело. Он не знал, зачем. Но запоминал. Потому что - надо. Потому что - иначе нельзя.

Партизан стоял рядом. Молча. Смотрел. Не двигался. Не стрелял. Не мог. Или - не хотел. Или - знал, что нельзя. Максим не спрашивал. Не говорил. Просто стоял. Смотрел. И запоминал.

Полицаи ушли. Деревня осталась - пустая, тихая. Максим всё ещё смотрел. Не двигался. Не мог. Потом отвёл взгляд. Медленно. Как будто каждый шаг - камень. Как будто каждый вздох - боль.

Партизан повернулся к нему. Посмотрел - долго, внимательно. Потом сказал:

- Пойдём.

Максим пошёл. За партизаном. Через лес. Через овраг. Через что-то ещё. Он не смотрел по сторонам. Не видел, куда идёт. Просто шёл. Потому что - надо. Потому что - иначе нельзя.

Они вернулись в лагерь. Максим присел на бревно и думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал.

Партизан сел рядом. Молча. Достал кисет, свернул самокрутку, прикурил. смотрел на дым и думал: вот это и есть война. Не только бой. Не только стрельба. А вот это - деревня, полицаи, расстрел. Тоже война. Может быть, самая настоящая.

Максим спросил. Не сразу - через час, может, через два. Когда огонь прогорел, когда дым рассеялся, когда стало можно говорить. Он спросил:

- Почему они так?

Партизан молчал. Долго. Смотрел в огонь. Как будто искал ответ не в себе, а где-то там, за лесом, за деревней, за линией, которую Максим не мог видеть. Потом сказал:

- Потому что продались.

Максим кивнул. Запомнил. Слова были простые. Но за ними было что-то. Что-то, что он не мог назвать. Что-то, что было важнее его самого. Важнее его страха. Важнее его жизни.

Он сжимал винтовку. Пальцы на цевье. Холодное дерево. Он держал её крепче, чем раньше. Не потому, что боялся. А потому, что знал: она понадобится. Скоро. Очень скоро. И он будет стрелять. Не в немца. В того, кто убивает своих. В того, кто продался. В того, кто стал чужим.

Он смотрел на огонь. На пламя. На то, как оно двигается. И думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал. Но знал, что будет стрелять. Это было простое знание, которое не требовало доказательств. Как земля под ним. Как винтовка в руках. Как огонь перед ним.

Глава 9. Артём. Похоронка

Почта пришла днём - не с грохотом, не с криком, а тихо, обыденно, как приходило всё в этом окопе. Человек сверху - тот же, что приносил приказы, - спустился по стенке окопа, подошёл к Сержанту, что-то сказал ему на ухо. Сержант выслушал, кивнул. Человек ушёл. Сержант повернулся к Артёму.

- Похоронка, - сказал он. Голос был тот же - низкий, хриплый, как будто он давно не говорил. - Бойцу. Земляку.

Артём кивнул. Он не спросил, кому именно. Не спросил, что случилось. Он просто кивнул - так же, как кивал Сержант, как кивали другие. Похоронка есть похоронка. Её не обсуждают. Её читают. Или - не читают. Но её приносят. И надо что-то делать. Или - не делать. Но надо.

Сержант достал из кармана сложенный вчетверо листок. Протянул Артёму. Артём взял. Бумага была тонкой, серой, с машинописным текстом, который расплывался перед глазами. Он прочитал медленно, шевеля губами. Слова были простые: погиб. Такой-то. Тогда-то. При таких-то обстоятельствах. Похоронен там-то. Ничего лишнего. Ничего такого, чего нельзя было бы сказать вслух.

Он складывал листок вчетверо, медленно, разглаживая сгибы пальцами. Дело привычное. Похоронки приходили и раньше. Будут приходить и теперь. Он не знал, кому именно. Не знал, кто этот боец. Но знал: это - свой. Это - тот, кто был здесь. Кто сидел рядом. Кто чинил сапоги. Кто делил кисет. Кто наматывал портянки.

Боец сидел в конце окопа. Тот самый - немолодой, с усами, с обветренным лицом. Или - не тот. Артём не знал. Он не знал имён. Не знал, кто откуда. Но знал: это - свой. Это - тот, кто был здесь. Кто сидел рядом. Кто чинил сапоги. Кто делил кисет. Кто наматывал портянки. Кто - был. И - не будет.

Боец читал похоронку. Молча. Долго. Шевеля губами, будто пытался понять, что там написано. Артём смотрел. Не подходил. Не мог. Он стоял в стороне - шагах в десяти, - и смотрел. Как боец держит бумагу. Как разглаживает её на колене. Как прячет в карман. Как сидит. Как молчит.

Боец не плакал. Не говорил. Просто молчал. Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он сидит. И не знал, что сказать. Не знал, можно ли подойти. Не знал, можно ли - сказать. Он просто стоял. И смотрел. И молчал.

Сержант подошёл к нему. Встал рядом. Молча. Смотрел туда же. На бойца. На его руки. На его лицо. На то, как он сидит. Потом сказал - тихо, негромко:

- Не подходи. Пусть сам.

Артём кивнул. Он не спросил, почему. Не спросил, что будет. Он просто кивнул. И остался стоять. В стороне. Шагах в десяти. И смотрел.

Боец молчал. Артём молчал. Все молчали. Только где-то далеко ухало - глухо, ритмично. Как будто ничего не было. Как будто - не война. Как будто - не похоронка. Как будто - не земляк.

Артём смотрел на бойца. На его спину. На его плечи. На то, как он сидит - ссутулившись, сжав колени руками, глядя в землю. И думал: это похоронка. Просто бумага. Но за ней - человек. Которого нет. Которого не будет. Которого - не вернуть.

Он не знал, что сказать. Не знал, можно ли - сказать. Не знал, нужно ли - говорить. Он просто стоял. И смотрел. И молчал. Как все. Как Сержант. Как боец. Как - все.

День тянулся медленно. Светло стало - и всё. Солнце не вышло, небо не расчистилось. Просто серое полотно стало чуть светлее. По этому свету определяли время. Артём стоял в стороне. Смотрел на бойца. Ждал. Не знал чего. Но ждал. Как ждали все. Как ждал Сержант. Как ждал боец. Как - все.

Ночью боец сидел у костра. Смотрел в огонь. Молчал. Артём смотрел на него. Не подходил. Не мог. Просто сидел рядом. Молча. Огонь был маленький, слабый, но живой. Он тлел, отдавая тепло, которого хватало только на то, чтобы не замёрзнуть. Боец смотрел на него. Не двигался. Не говорил. Просто смотрел. И молчал.

Артём смотрел на бойца - на его руки, на его лицо, на то, как он смотрит в огонь. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно

понять, если смотреть и слушать. И ещё он думал: это похоронка. Просто бумага. Но за ней - человек. Которого нет. Которого не будет. Которого - не вернуть.

Сержант подошёл. Сел рядом. Молча. Достал кисет, свернул самокрутку, прикурил. Дым пошёл вверх - ровно, спокойно, без ветра. Артём смотрел на дым и думал: вот это и есть война. Не только бой. Не только стрельба. А вот это - похоронка, молчание, огонь. Тоже война. Может быть, самая настоящая.

Боец заговорил. Не сразу - через час, может, через два. Когда огонь прогорел, когда дым рассеялся, когда стало можно говорить. Он сказал - тихо, негромко, как будто говорил сам с собой:

- Земляк. С одного села. Вместе росли. Вместе - сюда.

Артём кивнул. Не потому, что понял - он не понял. А потому, что почувствовал: это было важно. Сказать это. Услышать это. И ответить - хотя бы кивком.

Боец замолчал. Смотрел в огонь. Молчал. Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он смотрит в огонь, будто видит там что-то своё. И думал: он тоже не знает, что сказать. Но он знает что-то другое. Что-то, что важнее.

Утром боец встал. Молча. Пошёл. Делал. Что надо. Как будто ничего не было. Как будто - не похоронка. Как будто - не земляк. Но что-то в нём изменилось. Что-то, что Артём не мог назвать. Что-то, что было в нём - и осталось. Что-то, что было - и не было.

Артём смотрел на него. На его спину. На его плечи. На то, как он идёт - медленно, тяжело, как солдат. Как все. И думал: он жив. Он - жив. Это было важно. Важнее, чем всё остальное. Важнее, чем похоронка. Важнее, чем бумага. Важнее, чем - всё.

Сержант подошёл к Артёму. Встал рядом. Молча. Смотрел туда же. На бойца. На его спину. На его плечи. На то, как он идёт. Потом сказал - тихо, негромко:

- Живой.

Артём кивнул. И это было важно. Не слова. А то, что он кивнул. Что он согласился. Что он - понял.

День шёл своим чередом. Артём делал то, что делали все. Углублял окоп. Проверял оружие. Чистил винтовку. Разбирал затвор, протирал тряпицей, смазывал маслом из маленькой жестянки, собирал обратно. Получилось не сразу - затвор не вставал на место. Он повозился, но справился. Проверил - работает. Сержант сидел рядом, чистил свою. Молча. Иногда поглядывал на Артёма - проверял. Артём старался делать правильно.

Боец - тот самый, с похоронкой, - тоже чистил винтовку. Молча. Сосредоточенно. Как будто от этого зависело что-то. Что-то, что было важнее его. Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он чистит. И думал: он жив. Он - жив. Это было важно. Важнее, чем всё остальное.

Потом был обед - каша, вода, кусок хлеба. Артём ел и слушал. Говорили о том, что где-то на соседнем участке была стычка, что немцы пытались прощупать оборону, что их отогнали. Говорили спокойно, без паники, как о чём-то обычном. Артём слушал и понимал: это и есть война. Не только бой. Не только стрельба. А вот это - каша, винтовки, разговоры. Тоже война. Может быть, самая настоящая.

Боец не говорил. Сидел в стороне. Ел молча. Смотрел в землю. Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он ест. И думал: он жив. Он - жив. Это было важно. Важнее, чем всё остальное.

К вечеру - если это был вечер - стало холоднее. Артём подтянул шинель ближе к телу. Она была не его, но уже не казалась чужой. Просто шинель. Просто ткань. Просто тепло.

Боец сидел у костра. Потом боец сказал - тихо, негромко, как будто говорил сам с собой:

- Он хороший был. Земляк. Хороший.

Артём кивнул. Не потому, что понял - он не понял. А потому, что почувствовал: это было важно. Сказать это. Услышать это. И ответить - хотя бы кивком.

Боец замолчал. Смотрел в огонь. Молчал. Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он смотрит в огонь, будто видит там что-то своё. И думал: он жив. Он - жив. Это было важно. Важнее, чем всё остальное. Важнее, чем похоронка. Важнее, чем бумага. Важнее, чем - всё.

Глава 10. Максим. Сожжённая деревня

Утром Максим проснулся от холода. Спина замёрзла, ноги не слушались, пальцы не гнулись. Он лежал на лапнике, укрытый чем-то, что не мог назвать. Куртка? Пальто? Обрывок брезента? Он не помнил, откуда это взялось. Но оно было, и оно грело - пока он не пошевелился.

Он сел. Ветки под ним хрустнули, осыпались иглами. Лапник был старый, сухой, с обломанными концами. Он пах не лесом, а чем-то прелым, застоявшимся, как будто лежал здесь давно. Максим сгрёб его в кучу, поднялся. Ноги затекли, стопы не слушались. Он постоял, переступая с ноги на ногу, пока кровь не пошла быстрее.

Костёр уже горел. Вчера он тлел, едва живой. Сегодня кто-то подбросил веток, и огонь поднялся выше, стал жарче. Над ним висел котелок - тот же, закопчённый, с погнутой ручкой. В котелке что-то булькало. Пахло не то кашей, не то похлёбкой - чем-то горячим, что можно было есть.

Люди вокруг уже встали. Кто-то чистил винтовку, кто-то сворачивал одеяло, кто-то сидел у костра и грел руки. Партизан со шрамом стоял в стороне, спиной к огню, и смотрел в лес. Он не двигался, не говорил. Просто стоял и смотрел. Максим подошёл к костру, сел на корточки. Ему дали ложку - деревянную, грубо вырезанную, с обожжённым концом. Он взял.

Похлёбка была жидкой, с редкими кусочками чего-то, что трудно было назвать овощами. Но она была горячей. Максим ел медленно, чувствуя, как тепло расходится по телу, как отпускает спина, как перестают дрожать пальцы. Он не поднимал головы. Слушал.

Говорили о вчерашнем - о том, что где-то слышали стрельбу, что, может быть, это были свои, а может, и нет. Говорили о том, что скоро надо менять место - стоять на одном месте долго нельзя. Говорили о еде - что крупа кончается, что надо будет что-то придумывать. О доме не говорили. Утром о доме не говорили.

После еды партизан со шрамом подошёл к Максиму. Не сказал ни слова. Только кивнул - иди за мной. Максим встал. Пошёл.

Они отошли от костра шагов на двадцать. Партизан остановился у поваленного дерева - старого, трухлявого, с обломанной верхушкой. Он показал на землю вокруг. Максим посмотрел. Земля была истоптана - следами, старыми и новыми, вмятинами от котелка, обрывками чего-то. Партизан показал на следы, потом на Максима, потом на лес. Максим не понял. Партизан показал ещё раз: на следы, на лес, на Максима. Потом нагнулся, взял горсть земли и рассыпал её по следам. Следы стали менее заметными. Не исчезли - но стали менее заметными.

Максим понял: прятать следы.

Он взял горсть земли, рассыпал по другому следу. Получилось хуже - земля легла неровно, след всё равно был виден. Партизан молчал. Максим попробовал снова. Опять неровно. Партизан молчал. Максим попробовал в третий раз - рассыпал землю медленнее, разравнивая её ладонью. След стал почти незаметным. Партизан посмотрел, кивнул. И пошёл обратно к костру.

Максим остался. Он разровнял ещё несколько следов - уже увереннее, уже зная, как надо. Потом догнал партизана.

- Понял? - спросил партизан. Голос у него был негромкий, спокойный.

- Понял, - сказал Максим.

Партизан кивнул и больше ничего не сказал.

Потом был день - или то, что в лесу называлось днём. Светло стало, и это было всё, что можно было сказать. Солнце не вышло, небо не расчистилось. Просто серое полотно стало чуть светлее. По этому свету определяли время.

Партизан со шрамом подошёл к нему снова. На этот раз он не показывал, не учил. Он просто сказал:

- Пойдём. Посмотрим.

Максим встал. Пошёл за ним. Они вышли из лагеря - не по тропе, а напрямик, через кусты, через овраг, через что-то ещё. Партизан шёл уверенно, не спотыкаясь, как будто знал каждый камень, каждую корягу, каждую лужу. Максим шёл за ним, стараясь не отставать.

Они шли долго. Может быть, час. Может быть, два. Может быть, больше. Лес был мокрым, тяжёлым, с ветками, которые хлестали по лицу. Под ногами чавкала земля - не грязь, но что-то близкое к ней, вязкое, холодное. Максим шёл, смотрел под ноги, чтобы не споткнуться, и слушал. Лес был полон звуков - не громких, не тревожных, но полных. Где-то трещала ветка. Где-то капала вода. Где-то кричала птица - не ночная, не дневная, а какая-то потерянная, которая не знала, что ей делать.

Потом лес кончился. Они вышли на опушку - туда, где деревья редели и начиналось поле. За полем была деревня. Небольшая - десятка два домов, с соломенными крышами, с садами, с заборами. Она стояла на склоне, и от леса её было видно всю - от края до края.

Но что-то было не так. Максим не сразу понял что. Он смотрел на деревню и чувствовал: что-то не так. Что-то - не то. Что-то - не как должно быть.

Потом он понял. Деревня была сожжена. Не вся - но большая часть. Дома чернели - не стены, а трубы, торчащие как пальцы. Пепел, зола, обгоревшие вещи. Ничего живого. Только - запах. Горелого. Мёртвого. Запах был тяжёлым, густым, как будто он въедался в одежду, в кожу, в лёгкие. Максим дышал и не мог надышаться. Или - не хотел. Или - не мог.

Они вошли в деревню. Медленно. Молча. Партизан шёл впереди, Максим - за ним. Они шли по улице - той самой, где недавно ходили полицаи. Теперь здесь было пусто. Только пепел. Только зола. Только обгоревшие вещи - чудом уцелевшие, но ненужные. Горшок. Ложка. Кусок ткани. Что-то ещё - что-то, что нельзя было назвать.

Максим смотрел по сторонам. Не мог не смотреть. Дома - чёрные, обгоревшие, с провалившимися крышами. Заборы - сгоревшие, торчащие, как рёбра. Сады - вытоптанные, с обломанными ветками. Ничего живого. Только - запах. Горелого. Мёртвого.

Он думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал. Но знал: это - не должно было быть. Это - не должно было случиться. Это - не должно было - никогда.

На пепелище была старуха. Она стояла на коленях - или сидела, или просто была - и копалась в золе. Перебирала обгоревшие вещи. Что-то искала. Что-то, что было. Что-то, чего не будет.

Максим смотрел на неё. Не подходил. Не мог. Он стоял в стороне - шагах в десяти, - и смотрел. Как она копается в золе. Как перебирает вещи. Как ищет. Как - не находит. Или - находит. Или - не знает, что ищет.

Он видел её руки. Сухие. В трещинах. Они что-то искали. Что-то, что было. Что-то, чего не будет. Руки были старые, натруженные, с тёмными ногтями. Они копались в золе медленно, осторожно, как будто боялись что-то повредить. Или - найти. Или - не найти.

Максим смотрел на неё и думал: это враги. Но не немцы. Это - свои. Которые продались. Как это возможно - он не понимал. Но видел. И это - страшнее, чем всё. Страшнее, чем бой. Страшнее, чем полицаи. Страшнее, чем - всё.

Он не подошёл. Не сказал ни слова. Не знал, что сказать. Не знал, можно ли - сказать. Не знал, нужно ли - говорить. Он просто стоял. И смотрел. И молчал. Как все.

Максим подошёл. Не сразу - через минуту, может, через две. Когда старуха отвлеклась, когда руки её на секунду остановились, когда стало можно подойти. Он нагнулся. Поднял с

золы обгоревшую ложку. Деревянную, грубо вырезанную, с обожжённым концом. Такую же, как та, которой он ел утром. Или - не такую же. Но - похожую. Он вертел её в пальцах. Смотрел на неё. Долго. Молча.

Ложка была чёрной, обгоревшей, с трещинами. Она пахла гарью. Она была - вещью. Просто вещью. Но за ней - человек. Который ел этой ложкой. Который жил в этом доме. Которого - нет. Которого - не будет.

Максим смотрел на ложку. На её трещины. На её черноту. На то, что от неё осталось. И думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал. Но знал: это - не должно было быть. Это - не должно было случиться. Это - не должно было - никогда.

Он положил ложку обратно. В золу. Туда, откуда взял. И выпрямился. И пошёл дальше.

Они уходили из деревни. Медленно. Молча. Партизан шёл впереди, Максим - за ним. Они не оглядывались. Не смотрели назад. Не могли. Или - не хотели. Или - знали, что нельзя.

Деревня оставалась позади - мёртвая, тихая. Максим смотрел на неё. Долго. Молча. Потом отвернулся. И пошёл. Потому что - надо.

Он думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал. Но знал: это - не должно было быть. Это - не должно было случиться. Это - не должно было - никогда. И ещё он думал: это враги. Но не немцы. Это - свои. Которые продались. Как это возможно - он не понимал. Но видел. И это - страшнее, чем всё.

Они вернулись в лагерь. Максим сел у костра. Партизан сел рядом. Максим смотрел на огонь и думал: вот это и есть война. Не только бой. Не только стрельба. А вот это - деревня, пепелище, старуха. Тоже война. Может быть, самая настоящая.

Максим спросил. Не сразу - через час, может, через два. Когда огонь прогорел, когда дым рассеялся, когда стало можно говорить. Он спросил:

- Почему они так?

Партизан смотрел в огонь. Как будто искал ответ не в себе, а где-то там, за лесом, за деревней, за линией, которую Максим не мог видеть. Потом сказал:

- Потому что продались.

Максим кивнул. Запомнил. Слова были простые. Но за ними было что-то. Что-то, что он не мог назвать. Что-то, что было важнее его самого. Важнее его страха. Важнее его жизни.

Он сжимал винтовку. Пальцы на цевье. Холодное дерево. Он держал её крепче, чем раньше. Не потому, что боялся. А потому, что знал: она понадобится. Скоро. Очень скоро. И он будет стрелять. Не в немца. В того, кто убивает своих. В того, кто продался. В того, кто стал чужим.

Он смотрел на огонь. На пламя. На то, как оно двигается. И думал: это было. Это есть. Это будет. Или - не будет. Он не знал. Но знал, что будет стрелять. Это было простое знание, которое не требовало доказательств. Как земля под ним. Как винтовка в руках. Как огонь перед ним.

Глава 11. Артём. Письмо

Артём увидел это случайно. Он шёл по окопу - от костра к своему месту, где лежала шинель и винтовка, - и заметил бойца, сидевшего в стороне. Тот самый боец - немолодой, с усами, с обветренным лицом, с руками, которые даже в покое оставались натруженными. Он сидел на земле, прислонившись спиной к стенке окопа, и держал на коленях листок бумаги. Не серый, не мятый, не вырванный из блокнота - а настоящий, белый, с ровными краями. Такой бумаги в окопе не было. Или - почти не было. Её берегли. Её хранили. Её - доставали.

Боец держал листок на коленях и смотрел на него. Долго. Молча. Не писал - смотрел. Как будто ждал, что бумага что-то скажет. Или - как будто собирался с мыслями. Или - как будто не знал, с чего начать.

Артём остановился. Не подошёл. Не мог. Он стоял в стороне - шагах в пяти, - и смотрел. Как боец держит листок. Как смотрит на него. Как - не пишет. Или - пишет. Или - собирается.

Потом боец поднял голову. Увидел Артёма. Не удивился. Не смутился. Просто посмотрел - долго, внимательно. И сказал - тихо, негромко:

- Матери. Она ждёт.

Артём кивнул. Не потому, что понял - он не понял. А потому, что почувствовал: это было важно. Сказать это. Услышать это. И ответить - хотя бы кивком.

Боец начал писать. Медленно. Криво. Как будто каждое слово - камень. Он выводил буквы - не ровные, не красивые, а такие, какие получались. Он не был писателем. Он не был даже грамотным - или был, но давно не писал. Рука не слушалась. Или - слушалась, но не так, как надо. Или - слушалась, но не хотела.

Артём смотрел. Не подходил. Не мог. Он стоял в стороне - шагах в пяти, - и смотрел. Как боец выводит буквы. Как прикусывает губу. Как поправляет бумагу. Как смотрит на написанное. Как - не решается. Или - решается. Или - пишет.

Он думал: это письмо. Просто письмо. Но оно - оттуда. Из той жизни. Где была мать. Где был дом. Где было всё. Где - не было войны. Где - не было окопа. Где - не было - ничего. Или - было. Или - будет. Он не знал.

Боец писал долго. Может быть, час. Может быть, два. Может быть, больше. Он не торопился. Не спешил. Не рвал написанное. Не начинал заново. Просто писал. Медленно. Криво. Как получалось.

Артём смотрел на него - на его руки, на его лицо, на то, как он пишет. И думал: этот человек знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что он не скажет словами. Но что можно понять, если смотреть и слушать. И ещё он думал: это письмо. Просто письмо. Но за ним - мать. Которая ждёт. Которая надеется. Которая – живёт и ждет.

Ночью боец складывал письмо. Медленно. Аккуратно. Как будто оно было хрупким. Или - дорогим. Или - единственным. Он складывал его вчетверо - сначала пополам, потом ещё раз пополам, - и разглаживал сгибы пальцами. Долго. Молча. Как будто от этого зависело что-то. Что-то, что было важнее его.

Артём смотрел. Не подходил. Не мог. Он сидел в стороне - шагах в пяти, - и смотрел. Как боец складывает письмо. Как разглаживает сгибы. Как - прячет. Или - не прячет. Или - держит.

Боец убрал письмо в карман. Не в тот, что сбоку, - а в тот, что ближе к сердцу. В нагрудный. Или - в тот, что был на груди. Или - в тот, что - ближе. Артём видел это. Молчал. Не спрашивал. Потому что не надо. Потому что - нельзя. Потому что - не его дело.

Он думал: это письмо. Просто письмо. Но оно - важно. Важнее, чем всё, что он слышал раньше. Важнее, чем приказы. Важнее, чем крики. Важнее, чем - всё.

Утром боец отдал письмо. Не сразу - сначала он его достал. Посмотрел на него. Долго. Молча. Потом - отдал. Кому - Артём не видел. Может быть, почтальону. Может быть, командиру. Может быть, кому-то ещё. Кому - не знал. Но - отдал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.